



# Часть I

## Глава первая

### I

Перед отъездом он все же решил позвонить тетке. Он вообще всегда первым шел на примирение. Главным тут было не заискивать, не сюсюкать, а держаться, словно бы и ссоры нет — так, чепуха, легкая размолвка.

— Ну, что, — спросил он, — что тебе привезти — *кастануэлас*?<sup>1</sup>

— Иди к черту! — отчеканила она. Но в голосе слышалось некоторое удовлетворение, что — позвонил, позвонил все-таки, не умчался там крылышками трещать.

— Тогда веер, а, Жука? — сказал он, улыбаясь в трубку и представляя ее патрицианское горбоносое лицо в ореоле подсиненной дымки. — Прилепим тебе мушку на щечку, и выйдешь ты на балкон своей богадельни обмахиваться, как маха какая-нибудь, ядрён-корень.

— Мне ничего от тебя не надо! — сказала она строптиво.

— Вона как. — Сам он был кроток, как голубь. — Ну ла-адно... Тогда привезу тебе испанскую метлу.

— Что еще за испанскую? — буркнула она. И попалась.

---

<sup>1</sup> Кастануэлас (*исп.*) — кастаньеты.

— А на какой еще ваша сестра там летает? — воскликнул он, ликуя, как в детстве, когда одурачишь простофилю и скачешь вокруг с воплем: «Об-ма-ну-ли ду-ра-ка на че-ты-ре ку-ла-ка!»

Она швырнула трубку, но это было уже не ссорой, а так, грозой в начале мая, и уезжать можно было с легким сердцем, тем более что за день до размолвки он съездил на рынок и забил теткин холодильник до отказа.

\* \* \*

Оставалось только *закруглить* еще одно дело, *сюжет* которого он выстраивал и разрабатывал (виньетки деталей, арабески подробностей) вот уже три года.

И завтра наконец на утренней зорьке, на фоне бирюзовых декораций, из пены морской (*лечебно-курортной*, отметим, пены), родится *новая Венера* за личной его подписью: последний взмах дирижера, патетический аккорд в финале симфонии.

Не торопясь, он уложил любимый мягкий чемодан из оливковой кожи, небольшой, но приемистый, как солдатская котомка: его утрамбуешь до отказа, *по самое*, как говорил дядя Сёма, *не могу*, — глядь, а вторая туфля все же влезла.

Готовясь к поездке, он всегда тщательно продумывал свой прикид. Помедлил над рубашками, заменил кремовую на синюю, вытащил к ней из связки галстуков в шкафу темно-голубой, шелковый... Да: и запонки, а как же. Те, что подарила Ирина. И те, другие, что подарила Марго, — обязательно: она приметливая.

Ну, вот. Теперь *эксперт* одет достойно на все пять дней *испанского проекта*.

Почему-то слово «эксперт», про себя произнесенное, рассмешило его настолько, что он захохотал, даже пова-

лился ничком на тахту, рядом с открытым чемоданом, и минуты две смеялся громко, с удовольствием, — он всегда заразительней всего хохотал наедине с собой.

Продолжая смеяться, перекатился к краю тахты, свесился, вытянул нижний ящик платяного шкафа и, порывшись среди мятых трусов и носков, вытащил пистолет.

Это был удобный, простой конструкции «глок» системы Кольта, с автоматической блокировкой ударника, с несильным плавным откатом. К тому же при помощи шпильки или гвоздя его можно было разобрать в одну минуту.

*Будем надеяться, дружище, что завтра ты проспишь в чемодане всю важную встречу.*

Поздним вечером он выехал из Иерусалима в сторону Мертвого моря.

Не любил съезжать по этим петлям в темноте, но недавно дорогу расширили, частью осветили, и верблюжьих горбы холмов, что прежде сдавливали тебя с обеих сторон, проталкивая в воронку пустыни, словно бы нехотя расступились...

Но за перекрестком, где после заправочной станции дорога поворачивает и идет вдоль моря, освещение кончилось, и набухшая солью гибельная тьма — та, что лишь у моря бывает, у *этого* моря, — навалилась вновь, шибая в лицо внезапными фарами встречных машин. Справа угрюмо громоздились черные скалы Кумрана, слева угадывалась черная, с внезапным асфальтовым проблеском соляная гладь, за которой далекими огоньками слезился иорданский берег...

Минут через сорок из тьмы внизу взмыло и рассыпалось праздничное созвездие огней: Эйн Бокек, со своими

отелями, клиниками, ресторанами и магазинчиками — приют богатого туриста, в том числе и убогого чухонца. А дальше по берегу, на некотором расстоянии от курортного поселка, одиноко и величаво раскинул в ночи свои белые, ярко освещенные палубы гигантский отель «Нирвана» — в пятьсот тринадцатом номере которого Ирина, скорее всего, уже спала.

Из всех его женщин она была единственной, кто, как и он, дай ей волю, укладывалась бы с петухами и с ними же вставала. Что оказалось неудобным: он не любил делить с кем бы то ни было свои рассветные часы, берег запас пружинистой утренней силы, когда впереди огромный день, и глаза остры и свежи, и кончики пальцев чутки, как у пианиста, и башка отлично варит, и все удается в курящемся дымке над первой чашкой кофе.

Ради этих драгоценных рассветных часов он частенько уезжал от Ирины поздней ночью.

Въехав на стоянку отеля, припарковался, достал из багажника чемодан и, не торопясь, продлевая последние минуты одиночества, направился к огромным карусельным лопастям главного входа.

— Спишь?! — шутливо гаркнул охраннику-эфиопу. — А я бомбу принес.

Тот встрепенулся, зыркнул белками глаз и недоверчиво растянул в темноте белую гармонику улыбки:

— Да ла-а-дно...

Они знали друг друга в лицо. В этом отеле, многолюдном и бестолковом, как город, стоящем в стороне от курортного поселка, он любил назначать деловые встречи, последние, итоговые: тот самый завершающий аккорд симфонии, к которому *интересанту* надо еще пилить по

неслабой дороге, меж нависших над морем скалистых зубов, затянутых скрепами и сеткой исполинского дантиста.

И правильно: как говорил дядя Сёма — *не потопашь* — *не полопашь*. (Впрочем, сам дядя *топнуть* своим ортопедическим ботинком ни за что бы не смог.)

Вот он, пятьсот тринадцатый номер. Бесшумное краткое соитие замочной прорези с электронным ключом, добытым у осовелой дежурной: *понимаете, не хочу будить жену, бедная страдает мигренями и рано укладывается...*

Никакой жены у него сроду не было.

Никакими мигренями она не страдала.

И разбудить ее он собирался немедленно.

Ирина спала, как обычно, завернутая в кокон одеяла, как белый сыр в друзскую питу. Вечно упакуется, зарорется, да еще под бока подоткнет — хоть археологов нанимай.

Бросив на пол чемодан и куртку, он на ходу стянул свитер, скovyрнул — нога об ногу — кроссовки и рухнул рядом с ней на кровать, еще в джинсах — замок застрял на бугристом изломе молнии — и в майке.

Ирина проснулась, и они завозились одновременно, пытаясь высвободиться из одеяла, из одежды, мыча друг другу в лицо:

— ...ты обещал, бессовестный, обещал...

— ...и сдержу обещание, человек ты в футляре!

— ...ну, что ты, как дикий, набросился! погоди... постой минутку...

— ...уже стою, ты не чуешь?

— ...фу, наглец... ну дай же мне хотя бы...

— ...кто ж тебе не дает... вот, пожалуйста, и вот... и вот... и... во-о-о-о-о...

...В открытой двери балкона солидарная с ним в ритме лимонная луна то взмывала над перилами со своим лупоглазым бесстыдным «Браво!», то опускалась вниз, сначала медленно и плавно, затем все быстрее, быстрее — словно увлекшись этими, новыми для нее, качелями, — то увеличивая, то сокращая размах взлета и падения. Но вот замерла на головокружительной высоте, балансируя, будто в последний раз озирая небесную округу... и вдруг сорвалась и помчалась, ускоряя и ускоряя темп, едва ли не задыхаясь в этой гонке, пока не застонала, не заби-лась, не вздрогнула освобожденно и — не затихла, в изнеможении повиснув где-то на задворках небес...

...Затем Ирина плескалась в душе, то и дело переключая горячую струю на холодную (сейчас заявится в постель — мокрая, как утопленник, и давай, грей ее до собственного посинения), а он пытался взглядом проследить в окне микроскопические передвижения бледно-одутловатого светила, своего недавнего партнера по свальному греху.

Наконец поднялся и вышел на балкон.

Гигантский отель погружен был в оцепенелый сон на краю мерцающего соляного озера. Внизу, в окружении пальм, полированной крышкой рояля лежал бассейн, в котором скакала желтая ломкая луна. В трех десятках метров от бассейна тянулся пляж с членистоногими пирамидками собранных на ночь пластиковых лежаков и кресел.

Стылое мерцание соли вдали сообщало неподвижной ночи ледяное безмолвие, нечто новогоднее — вроде ожидания чудес и подарков.

Что ж, за подарками дело не станет.

— Ты с ума сошел: голым — на балкон? — слышался за спиной бодрый голос. — Стыд у тебя есть элементарный? Люди же кругом...

Иногда ее хотелось не то чтобы выключить, но слегка убавить звук.

Он закрыл балконную дверь, задернул штору и зажег настольную лампу.

— Ты поправились... — задумчиво проговорил он, ваясь на кровать и разглядывая Ирину в распахнутом махровом халате. — Мне это нравится. Ты сейчас похожа на Дину Верни.

— Что-о-о?! Что это за баба?

— Натурщица Майоля. Скинь-ка этот идиотский халат, ага... и повернись спиной. Да, те же пропорции. При тонкой спине сильная выразительная линия бедер. И плечо сейчас так плавно восходит к шее... Ай-яй, какая натура! Жаль, что я сто лет карандаш в руки не брал.

Она хмыкнула, плюхнулась в глубокое кресло рядом с кроватью и потянулась к пачке сигарет.

— Ну, давай валяй... Расскажи мне еще что-нибудь про меня.

— Эт пожалуйста! Понимаешь, когда женщина чуток набирает весу, ее грудь становится благодней, щедрее... улыбчивей. И цвет кожи меняется. Нежный слой подкожного жира дает телу более благородный, перламутровый оттенок. Возникает такая... ммм... прозрачность лес-сировок, понимаешь?

Он уже не прочь был вздремнуть перед рассветом хотя бы часик-полтора. Но Ирина закурила и была бодр и напориста. Того гляди, вновь потребует к священной жертве. Главное, чтоб не принялась отношения выяснять.



— И потом, знаешь... — зевнув и поворачиваясь на бок, продолжал он, — вот это мерное колыхание бедер, вид сзади и сверху, оно сводит с ума, если еще ладонями...

— Кордовин, гад! — перегнувшись, она швырнула в него пустой сигаретной пачкой. — Ты прямо сирена злокозненная, Кордовин! Казанова какой-то, пошлый соблазнитель!

— Не-а, — бормотнул он, неудержимо засыпая. — Я просто... влюбленный...

Все это было сущей правдой. Он любил женщин. Он действительно любил женщин — их быстрый ум, земную толковость, цепкий глаз на детали; не уставал повторять, что если женщина умна, то она опаснее умного мужчины: ведь обычная проницательность обретает тогда еще и эмоциональную, поистине звериную чуткость, улавливает — поверху, *по тяге* — то, что никакой логикой не одолеешь.

Он дружил с ними, предпочитал с ними вести дела, считал более надежными товарищами и вообще — лучшими людьми. Часто аттестовал себя: «Я очень женский человек». Всегда умел согреть и всегда находил — чем полюбоваться в каждой.

\* \* \*

Проснулся он, как обычно, в пять тридцать. Уже много лет какой-то усердный и неумолимый ангел заводил где-то в вышних казармах побудку, и минута в минуту — какой бы сон ни снился, какая бы усталость ни свалила его два часа назад, — в пять тридцать он обреченно открывал глаза... и, чертыхаясь, плелся в душ.

Но до этого ему сегодня опять *показали жестянку*.

Вроде как он поднимается, с усилием ворочая торсом, — в *этих* снах всё всегда происходит с неотменимой чередой тяготеющих движений, — садится на постели, с трудом разлепляет глаза... И видит: на гостиничном журнальном столике — *стоит*. Ах ты, мать честная! — стоит та самая, *мятая жестянка*... Нет, говорит он себе (все следует давно вызубренному сценарию проклятого сна), — не жестянка, скотина ты этакая, а субботний серебряный кубок, старинная фамильная вещь, хотя и — да, слегка примятый сбоку; но это ведь потому, что с грузовика упал. И Жука, сирота (война, зима, эвакуация), не побоялась, сама полезла под колесо, достала! А ты, мерзавец, подонок и прохвост... пошел и сдал в антикварную скупку, глазом бесстыжим не моргнув. И, главное, вот сейчас давно прочел бы — что там по кругу было выбито. В те годы не мог, не понимал диковинных закорючек, а сейчас бы запросто прочел, ведь то наверняка был иврит?

Ну, Жу-у-ка, простонал он, как всегда (сценарий движется, сон катится под гору, вернее, мучительно вкатывается в гору), — я же сто раз прощения... я осознал... искал! Да что мы опять ссоримся, ей-богу: вот же он — стоит! Стоит — темный, массивный, давно не чищенный — так что и кораблик неразличим, — на серебряной своей юбочке...

И он тянет пудовую руку, с усилием, как воду, преодолевая толщу сна. Тянет руку, тянет... Хватает наконец тяжелый кубок, вертит в пальцах, подносит к глазам. И плывет по трем легким волнам трехмачтовый галеон, и выются по серебряной юбочке угловатые — и такие по-

нятные теперь — буквы: «*Поезд на Мюнхен отходит со второго перрона в 22.30*».

И тогда лишь проснулся. Вроде проснулся-таки. Господи, доколе... *Прости, Жука!*

Он долго стоял под жгучими плетками воды, потом резко переключил на холодную и с минуту, охая от удовольствия, растирался жесткой мочалкой, которую повсюду с собой возил.

Затем побрился, не торопясь, тихо насвистывая, чтобы не разбудить раньше времени удава там, на кровати... Славного полненького удава, чьи упругие кольца, так сладко пульсируя, сжимают... м-да. Все же не надо позволять ей полнеть и дальше.

Старательно выбривая выпяченный подбородок (в ежеутреннем бритье это главная мука — крутой, как твердое яблочко, подбородок с труднодоступной выемкой под нижней губой), он внимательно рассматривал себя в просторном зеркале ванной.

А ты слегка подсох, парень... Дядя Сёма сказал бы: *подбрался*. В молодости был скорее крепышом. Часто даже за боксера принимали. Сейчас утоньшился, согласно образу. Нос как-то... окостенел, что ли... Аристократ-с, твою мать.

Только ежик густых черных волос (фамильно устойчивый пигмент, небрежно отвечал он на комплименты) и такие же смоляные брови, прямые и почти сросшиеся над глубоко посаженными серыми глазами, были прежними. Да вот еще эти вертикальные черточки в углах рта, что всегда сообщали его лицу выражение детского дружелюбия, вечной готовности растянуть губы в улыбке: *я люблю тебя, мой огромный добрый мир...* Да, это наш козырь. Может, это твой единственный козырь, а, парень?

Когда на цыпочках он вышел из ванной, чтобы достать из чемодана рубашку и костюм, выяснилось, что и Ирина проснулась — черт, как некстати эта ее жаворонковая природа! — и лежит в своем коконе, лохматая, в отвратительном настроении и полной боевой готовности.

— Трусливо сбегаешь, — она внимательно и насмешливо наблюдала за тем, как он одевается.

— Ага, — он широко ей улыбнулся. — Ужасно трушу! Я вообще тебя очень боюсь и раболепно выслушиваюсь. Глянь-ка на эти запонки. Узнаешь? Обожаю их, всем демонстрирую: «подарок любимой женщины».

— Любимой женщины. Да их у тебя в каждом городе штук по сто.

— Сто?! Зачем же столько, о боже! «Кому это надо, и кто это выдержит», — говорил мой винницкий дядя Сёма...

— Какая ты сволочь, Кордовин! Мы же решили, что теперь всегда будем ездить вместе.

Вот это она зря. Гнусное коммунальное сочленение — «мы». *Пожизненное мычание, мыловарение мылолетней мылости любви...* Нехороший симптом. Неужели придется преобразовывать ее из любовницы в подругу? Жаль, с ней хорошо, с Ириной-то. По сути дела, с ней за эти три года сложилась идеальная жизнь, без всяких подлых «мы»... «нам»... *Нам, детка, строить и жить помогает* именно одинокая наша чуткость, волчья поджарость, трепетание крыльев носа в предчувствии взятого следа. Какое уж там «мы».

— Не заставляй опять штаны снимать, хозяй-а-ай-ка, — придурковато-жалобно затынул он, — за-а-дница стынет! Вишь, я уже в портупее.

И все же подошел к кровати, прилег — прямо в костюме — рядом с ней, заспанной, несчастной, нащупал и без-

жалостно вытащил из одеяльного свертка ее голую руку, принялся целовать, поднимаясь от пальцев и до плеча: подробно, дельно, по сантиметру, приговаривая что-то шутливо-докторское.

Его правилом было: никаких уменьшительных. Все только полными, звучными прекрасными именами. Женское имя священо, сокращать его — кощунство, сродни богохульству.

И она отмякла, рассмеялась от щекотки, прижала к уху голое плечо.

— Вкусно пахнешь: жасмин... зеленый чай... Это что за одеколон?

— «Лёкситан». В дьюти-фри всучили, в Бостоне. Там продавалка такая старательная попалась, на совесть работала. «Старинная фирма, старинная фирма... флаконы ручной работы». Купил, чтоб отстала. — Он сел на постели, мельком глянул на часы. — Послушай, радость моя, серьезно: не огорчайся. Ну, что за удовольствие торчать на университетской конференции с унылым названием «El Greco: un hombre que no se traiciono a si mismo»?

— Что это значит?

— Какая разница? Это значит «Эль Греко: человек, который не предал самого себя». Бесмысленная тема, очередная бессмысленная конференция. Толедо, в общем, угрюмый город, да еще в дождливом апреле. Ей-богу, лучше здесь загорать. Тебе еще подкинуть бабла на эти ванны... ну, из водорослей? «Мадам на отдыхе, мадам имеет право».

Это была одна из их любимых фразочек, которых за три года накопилось немало: замечание продавца дорогого магазина в Сорренто, где Ирина пыталась не позволить «ухнуть страшные деньги на сумочку».

Она рассмеялась и сказала:

— Ладно, проваливай. Когда у тебя самолет?

Он теперь уже открыто и озабоченно глянул на часы:

— О-о... бегу-бегу! А то не успеть.

Вскочил, подхватил куртку, чемодан, в дверях обернулся — чмокнуть воздух в направлении кровати. Но Ирина уже опять плотно упаковалась, лишь всклокоченная макушка торчит из одеяла. *Бедная ты моя, брошенная...*

Тихо притворил за собою дверь.

Спустившись по лестнице на один этаж, он остановился, прислушался к тишине еще спящего отеля: где-то внизу, у бассейна, гулко и безмятежно переговаривались уборщики, тяжело протаскивая по мокрому бетону удавы кольца резиновых шлангов. Привалившись спиной к двери, он открыл молнию на чемодане и вытянул две вещи: вязаную синюю перчатку на правую руку — странную, с прорезями для подушечек пальцев, — и свой безгрешный пока автоматический «глок».

Впрочем, зачем же так сразу... напрягаться. Он опустил пистолет в карман пиджака, натянул перчатку, шевеля пальцами, как пианист перед первым бравурным пассажем, затем достал мобильник и набрал номер.

— Владимир Игоревич? Не разбудил?

В ответ благодарной волной покатилося:

— Захар Мионович, дорогой! Здравствуйте! Вот замечательно, что не подвели. А я с шести на ногах и места себе не нахожу. Так когда вам удобно? Я в четыреста втором номере.

— Ну и отлично, — отозвался он. — Через минуту зайду.

И пистолет снова нырнул в зубастую щель чемоданной молнии: такую взволнованную почтительную благодарность, какая звучала в голосе клиента, сымитировать

трудно. А у него был острейший, звериный слух и глаз на оттенки и интонацию.

И правда: надраенный до блеска Владимир Игоревич, трепеща брюхом, ждал его в отворенной двери апартамента. Интересно, какими заветными тропками пробирается он ежеутренней бритвой среди всех своих бородавок? И почему не отпустит бороду — или в негласном кодексе этих *новых крёзов* борода, как укрывательство, есть знак тайного умысла?

— Не через порог! — воскликнул толстяк, отступая и держа наготове ладонь лопаткой.

По некоторым окольным сведениям, новоиспеченный коллекционер владеет какими-то заводами в Челябинске. Или приисками? И не в Челябинске, а на Чукотке? Бог его знает, не суть важно. Благослови архангел Гавриил всех, кто вкладывает деньги в кусок холста, промазанный казеиновым клеем и покрытый масляными красками.

Действительно, ждал и волновался: в отворенной двери спальни видна была по-солдатски аккуратно застеленная кровать.

Картина — холст, натянутый на подрамник, — ждала своего часа, повернутая лицом к спинке дивана.

Как все же трогательны эти любители-коллекционеры. Все они трепещут перед тем первым мигом, когда картину пронзают рентгеновские очи эксперта. Еще, бывает, накидывают на диван или кресло, куда водружают картину, белую простыню, дабы уберечь драгоценное зрение *знатока* от назойливого цветового окружения. Цветовая антисептика операционной или детская игра *закрой покрепче глазки, откроешь, когда скажу!*

В таком случае, дорогой Владимир Игоревич, вы услышите сейчас небольшую лекцию о ничтожестве и эфемерности этого самого *знаточества*.

Он опустил чемодан на пол, бросил поверх него куртку.

— Ничего, что я левую протягиваю? — спросил, неловко пожимая (следовало бы извернуться и протянуть ладонь из-за спины) пухлую лапу коллекционера и улыбаясь одной из самых открытых своих улыбок. — Многолетний артрит, прошу меня извинить. От боли, бывает, вскрикиваю, как баба.

— Да что вы! — огорчился толстяк. — А вы пробовали «Золотой ус»? Моя жена очень хвалит.

— Чего только не пробовал, не будем об этом. Вы прямо вчера и приехали?

— Конечно! Как только вы сказали, что сегодня улетеете и что это — единственная возможность вас поймать, я немедленно заказал номер, и как тот тенор в опере — «чуть свет — у ваших ног!».

Где это он такую оперу слышал, интересно. Может, в своем Челябинске? Нет, милый, не дай тебе бог лежать у моих ног...

На журнальном столике стояла бутылка «Курвуазье» и две коньячные рюмки, но видно было, что бедняга уже изнемогает: ни сесть не предложил, ни выпить. Вот это страсть, я понимаю...

— Ну что ж, приступим, — сказал Кордовин. — У меня ведь и правда совсем мало времени.

— Только одно слово, — нервно потирая ладони, будто ввинчивая одну в другую, проговорил Владимир Игоревич. — Это необходимо... Вам, Захар Миронович, приходится сталкиваться с самым разным людом — сейчас даже откровенное быдло знает, во что вкладывать деньги. И я представляю вашу брезгливость к таким вынужденным знакомствам, как вот наше. Не возражайте, я знаю! Но, видите ли, Захар Миронович... коллекционерский возраст мой действительно младенческий — раньше не



было возможности собирать искусство, откуда деньги у рядового советского инженера-изобретателя? Но любитель живописи я со стажем, с молодости. Помню, нагрнешь в Москву, в командировку на три дня, чемодан в гостиницу — а сам рысью в Пушкинский, в Третьяковку... Неловко признаться, сам маленько балуюсь красками... Ну и читал много чего. Вашу книгу «Судьбы русского искусства за рубежом» — тоже разыскал в Интернете, прочел. Был бы счастлив пригласить вас к себе.

— В Челябинск? — с любопытством спросил эксперт. Он с пристальным удовольствием наблюдал, как искренне клиент пытается отмежеваться от *быдла*.

— Зачем же в Челябинск, — усмехнулся Владимир Игоревич. — Свою коллекцию я предпочитаю держать здесь — у себя в Кейсари. И если сегодня... если сам Кордовин даст положительное заключение об авторстве... Словом, если вы сейчас скажете свое «да», это будет мой третий Фальк. И самый отменный!

Он подскочил к дивану — при своей грузности толстяк не лишен был некоторой увалистой грации — и развернул картину лицом. И рядом стал, как в карауле: напряженный, с покрасневшей лысиной, переводя пытливо-умоляющий взгляд с холста на эксперта. Не забыл ли он сегодня принять таблетку от давления — вот в чем вопрос.

Опустившись в кресло, Кордовин неторопливо достал из нагрудного кармана пиджака очки, молча надел и стал разглядывать полотно — с расстояния.

Картина являла собой пейзаж. На переднем плане — куст, за ним виден серый дачный забор и небольшой участок тропинки, по которой идет смутная в сумерках женщина. На заднем плане — красная крыша дома и купа деревьев.

— Из «Хотьковской» серии? — наконец проговорил Кордовин.

— Точно! — обрадовался Владимир Игоревич. — Вот что значит специалист! Она и называется: «Пасмурный день. Хотьково». И старуха-владелица помнит именно это название. Представляете, имя автора забыла, а название, говорит, все годы, как стихи, помнила!

— Это бывает. — Он вздохнул. — А что там с *провенансом*?

— На мой взгляд, все безупречно, — откликнулся коллекционер, обнаруживая приятную осведомленность в терминологии *предмета*. — Есть письменное подтверждение хозяйки. Старушка — вдова израильского адвоката средней руки, причем, его вторая жена. Картину помнит на стене все двадцать пять лет брака, говорит, что муж вывез ее в пятьдесят шестом из Москвы.

— Купил? Подарили? Подробности?

— К сожалению, ничего. У бедняжки цветущий Альцгеймер. — Он махнул рукой. — А по мне, так даже и лучше: по крайней мере, все выглядит семейно-естественно. И что ценно — на приличном расстоянии от российского рынка, с его густопсовыми фальшаками.

Это правильно. Насчет российского рынка — это вы в самую точку, уважаемый. А старые вдовы — они чем особенно ценны? Слабым зрением и цветущим Альцгеймером: ни черта не помнят, кроме событий сегодняшнего утра.

(Мгновенно перед глазами возникло то последнее, все жилы вытянувшее свидание, когда старуха, выгладив ладонью полученную от него *штуку зеленых*, соизволила наконец написать бумагу: «Вот, опять забыла название... Посмотрите, Захарик, может, там на обороте написано?»

И он перевернул холст и четко продиктовал, старательно вглядываясь в несуществующую надпись: «Пасмурный день точка Хотьково».)

— Вам подать картину? — Владимир Игоревич с готовностью устремился всем корпусом — хватать-передавать, поддерживать, расстилать и освещать. Ему хотелось кружить вокруг картины и ласкать ее руками и взглядами — вполне естественное, сродни влюбленности, состояние для подлинного коллекционера, которое распространяется и на уважаемого эксперта. Между прочим, история предмета знает и случаи благодарственного лобызания рук.

— Погодите.

Кордовин снял очки и аккуратно сложил дужки дорогой модной оправы — как руки покойнику. Помедлил...

— Прежде всего я хотел бы вот что выяснить: вам, Владимир Игоревич, нужно мое действительное мнение или моя подпись под заключением?

Толстяк ахнул, вспыхнул. Ну что ж... Эмоциональный человек и, кажется, искренний любитель искусства, не жлоб какой-нибудь, даром, что завод украл... или рудник все-таки?

— Захар Миронович! Кто ж захочет, чтобы ему в коллекцию *фальшак вморозили!*

— Не скажите, — усмехнулся тот. — Лет восемь назад мне пришлось быть экспертом со стороны покупателя. Две картины, помню, предлагались: Машкова и, кстати, Фалька. Так вот, убогий слепец со зрелыми катарактами на обоих глазах определил бы, что сработаны эти две картины одной рукой. Причем, без перерыва на кофе. Случай, казалось бы, ясный. Однако «коллекционер» рвал удила и неистово требовал сторговаться. Я был в идиот-

ской ситуации. Конечно, в таких случаях идеально сравнение рентгенограмм — ведь поддельщики имитируют, как правило, только видимую часть, фактуру завершающих мазков, до осмысленного построения картины у них ручки не доходят. Но рентген подразумевает наличие аппарата и рентгенолога.

— И что? — спросил Владимир Игоревич с тем выражением на лице, с каким смотрят финальную погоню в кинотриллере.

— Я просто молча сел в машину и уехал, поскольку никогда не подпишу заключения на фальшивку. Но года через два эти два ковбоя-близнеца были выставлены на одном уважаемом аукционе, с заключением более почтенного эксперта из «Арт-Модуса», и недурно проданы. Весьма недурно. Впятеро дороже, помнится... Да. А в доме капитана легендарного «Эксодуса» — того самого, того самого — я видел огромного Малевича: два на три метра, какого в природе никогда не существовало. И он славному капитану чрезвычайно полюбился. Несмотря на откровенные отзывы многих экспертов. Понимаете... Владимир Игоревич, — задумчиво продолжал он. — Будем смотреть правде в глаза. В последние годы охота за действительно ценными произведениями искусства становится все беспощаднее. Власть эксперта приобретает какие-то несообразные, неоправданные масштабы. И хотя это — моя профессия, — вы ведь позволите быть с вами откровенным? — мне омерзительно сейчас выглядеть в ваших глазах волшебником и чародеем. Я не чародей.

— Господи, да я ж! — всплеснул тот руками. — Я понимаю и полностью даю себе отчет, что...

— ...а сейчас, пожалуй, взглянем на нее поближе.

Владимир Игоревич кинулся и осторожно, на вытянутых руках передал картину эксперту.

Тот молча повернул ее, стал рассматривать подрамник и холст с оборота... Несколько минут тишину нарушало лишь взволнованное сопение толстяка, склоненного в напряженном полупоклоне, да снизу то и дело вспыхивали детские вопли, сопровождаемые шлепками по воде, и женский голос тягуче выпевал: «А я говорю, ты получишь по за-аднице...»

— Вы, конечно, знаете, — наконец проговорил Кордовин, — что серьезной экспертизой считается комплексная. То бишь, помимо искусствоведческого заключения, необходим ряд технологических исследований: рентгеновская съемка, химический анализ... Можно еще над микроскопом пошаманить, набормотать нечто о пигментах, связующих... Такие заключения получают в какой-нибудь солидной экспертной организации.

— Захар Миронович! — взмолился коллекционер. — Бог с ними, с организациями. Мне нужно исключительно ваше мнение. Вы-то сами, что вы думаете?

— Нет, погодите. Я, конечно, тороплюсь, но своей репутацией дорожу поболее, чем своим временем. И сейчас хочу быть предельно с вами откровенным. Вы смотрите на меня, как на господа бога, Владимир Игоревич, а я, увы, не распределяю места в раю. Ужас в том, что все равно никто не может взять на себя полной ответственности за выводы экспертизы. Вы ведь, конечно, читали о самом громком скандале в искусстве двадцатого века, когда опытный эксперт, историк искусства доктор Абрахам Бредиус принял подделку Ван Меегерена за работу Вермеера? А недавний скандал с картиной якобы Шишкина, а на самом деле голландца Мариуса Кукукка, которого прозвала Третьяковка? И некий российский «коллекционер» за мно-о-ого тысяч изумрудных дукатов приобрел «фуффло голимое» — кстати, этим искусствоведческим

термином меня обогатил один из дилеров, имеющий за плечами десять лет уголовного прошлого. Он решил сменить рэкет на торговлю антиквариатом, так как в этом бизнесе больше прибыли и *уважухи*.

Самое же трагикомичное в нашем деле то, что иногда и сам художник не в состоянии отличить свою работу от подделки. Когда Клод Латур, знаменитая парижская поддельщица, была разоблачена и предстала перед судом, то сам Утрилло попал в нелепое положение: он не смог определенно ответить, выполнена картина им самим или подделана. А Вламинк хвалился, что однажды написал картину в стиле Сезанна, и тот признал в ней свое авторство.

— Но... тогда как же? — беспомощно выдохнул коллекционер. — Где же гарантия...

— Да не может быть никакой гарантии, голубчик! — сердито воскликнул Кордовин. — Какая там гарантия: музеи мира и частные коллекции на треть забиты фальшаками, при всех их химических анализах, рентгенах, инфракрасных и ультрафиолетовых лучах! Вы что, полагаете, мастера-изготовители подделок глупее нас, экспертов? Среди них встречаются подлинные виртуозы, высококлассные профессионалы... И они прекрасно разбираются в методах экспертизы, учитывая все технологические критерии подлинности — даже психологию самих экспертов!

— А как же быть...

Кордовин вытянул платок из кармана, неторопливо протер им стекла, вновь надел очки — *оживил покойника*. С явным удовлетворением оглядел клиента. Отличная работа: тот пребывал в нужной точке замерзания. Сейчас приступим к размораживанию и реанимации...

— Как быть? — переспросил он. — Смотреть и видеть. Я предпочитаю делать выводы по красочному слою. Вот что никогда вас не подведет, не обманет — при условии, что вы сумеете его прочесть. В нем все: живописная манера, эмоциональный ритм, индивидуальное движение кисти, способ нанесения краски, — все, что присуще этому, и только этому художнику... Как, знаете, в случае со шпионом, изменившим внешность: форма бровей и носа, цвет волос — все изменилось... а ступает исключительно с левой ноги, и точка! Вот эта левая нога — в ней разоблачение. Хотя, конечно, значение технологической экспертизы полностью отрицать невозможно. И ваше право ее потом произвести. Я же просто смотрю на холст и — да, полагаю, это авторство Фалька, и сейчас объясню почему, но прошу учесть — это всего лишь мое предположение, основанное исключительно на опыте, то бишь на интуиции, а еще точнее — на собачьем нюхе, простите за плебейский термин.

Он откинулся к спинке кресла, придерживая левой ладонью стоящий на коленях пейзаж...

Сейчас, когда была сыграна увертюра, когда прозвучали все главные темы симфонии под названием «Рождение новой Венеры из пены морской», можно перейти к свободным вариациям. Он любил такие внезапные переходы к вроде бы незначимым байкам, сплетням о великих, к поучительным историям, с кем-то произошедшим... Это напоминало ему прелюдию в любви, когда любое нетерпеливое движение может смять нарастающее сладкое томление, тягу к обладанию... — в нашем случае картиной, а не женщиной, но это одно и то же. Венера уже нарождалась... Уже, можно сказать, среди пенистых волн показалась ее спутанная рыжая макушка... Кроме того, неплохо бы разогнуть клиента, а то у него — человек-то

немолодой — может и *в поясицу вступить*. И тогда уж «Золотой ус» потребуется...

— В восьмидесятых годах в Москве, в Лаврушинском, жил один старичок-инвалид, передвигался на двух костылях... Да сядьте вы, бога ради, Владимир Игоревич, и расслабьтесь. Садитесь вот тут, напротив, заодно полюбуетесь лишний раз на своего Фалька. Так вот, старичок. Он состоял в экспертной комиссии Пушкинского музея. Не того, на Волхонке, а другого, литературного, на Пречистенке. Но это не важно. Когда музей собирался приобрести очередную картину, созывалась, натурально, комиссия, и все эксперты высказывались. А старичок молчал. Ему давали слово последнему. Тогда все умолкали, а он склонялся над изнанкой холста и нюхал его. Понимаете? Долго-долго нюхал... И выносил приговор. Никто не знал, что он там чуял, в этих старых холстах. Но верили его волосатой ноздре больше, чем любому прибору. Согласитесь, все это мало напоминает научный метод. Какая уж там наука — чистая интуиция знатока. Но и торговцам искусством, и вам, коллекционерам, мало толку от наших предположений. Вы требуете однозначных положительных выводов, не так ли? Вон как вы волнуетесь и хотите, я же вижу, очень хотите, чтобы я признал авторство Фалька! Придвиньтесь сюда, поближе...

Эксперт поднялся и, сдвинув в сторону ребром ладони бутылку и бокалы, опустил картину плашмя на журнальный стол, ровно освещенный утренним светом из открытой балконной двери...

— Видите, какой отличный свет, пока солнце не взошло. Не зря я назначил вам свидание в такую рань. — Он достал из кармана лупу... — Впрочем, — проговорил, — тут и лупа не нужна. Вот, смотрите сами. Я сейчас подробно расскажу ход моих соображений. Сделаю вас со-



участником, если хотите — соавтором экспертизы. Итак, первое впечатление: холст в приличном состоянии. Полагаю, фабричная грунтовка. Фальк — в отличие, например, от Кончаловского, который грунтовал холсты сам, — охотно пользовался готовыми советскими холстами какой-нибудь ленинградской или подольской фабрики, впрочем, французскими тоже не брезговал, но то было до войны... Подрамник родной, тоже старый, сороковые годы. Откуда это видно? И тот и другой постарели одновременно под воздействием света. Ну, и естественные загрязнения. Вот, под нижней планкой подрамника пыли и грязи побольше — взгляните сами. Не говоря уже о мушиных засидах... А мушки тут потрудились немало, но они, родимые, в этом случае наши союзники. Таким образом, убеждаемся, что холст натянут на подрамник отнюдь не вчера. Ну-с, далее, — красочный слой...

Он слегка разогнулся, сморщился от боли в руке... осторожно помассировал запястье.

— Сказать вам, Владимир Игоревич, на что первым делом обращают внимание эксперты-технологи при отборе проб? На пластичность красочного слоя. Воткнул иголку и сразу скажут: «Это написано вчера». Что в нашем случае? Видно, что не так давно картина прошла деликатную и очень профессиональную реставрацию по поводу небольших утрат красочного слоя.

— Ух ты, а как вы заметили? — восхищенно воскликнул коллекционер. — Ведь совершенно ничего не видно! Меня информировали о реставрации, но я не смог...

— А вы присмотритесь... — Эксперт навел лупу на холст: под увеличительным стеклом выгнулся румяным коржиком конек крыши. — В двух местах: вот здесь... и здесь произведена «мастиковка», то есть подведен грунт и замечательно точно затонирован. Но краска более...

ммм... поверхностная, гораздо более свежая, неужели вы не замечаете? Далее — естественный легкий кракелюр — вот эти крошечные трещинки, — все соответствует временным условиям и тому, какие разрушения типичны для Фалька. Казалось бы: состояние картины полностью отвечает ее провенансу. Но!

Он учительским жестом поднял указательный палец и переждал крошечную строгую паузу, после чего продолжал:

— Но старый холст можно раздобыть; кракелюр, сравнительно «молодой», подделать нетрудно. Главное не это, а сам красочный слой, его жизнь... Вглядитесь в него. Что мы видим? Потрясающую многослойную живопись — такую подделать непросто: невероятной сложности вся гамма оттенков серого и зеленого... Вдова Фалька Ангелина Щёкин-Кротова где-то вспоминает, что однажды спросила его: «Ты выдумываешь это огромное количество градаций зеленого цвета?» Обратите внимание — вам хорошо видно? да придвиньтесь же теснее, ближе, не стесняйтесь, — обратите внимание: в верхних слоях наравне с работой кистью ясно видна работа мастихином. Совершенно фальковская манера заполнять живописное пространство холста. Куст на переднем плане написан широко и очень обобщенно; взгляд зрителя как бы пробегает мимо и упирается в забор... По состоянию природы в картине угадывается начало осени, что подтверждают воспоминания вдовы — она рассказывала: лето в тот год внезапно кончилось, начались холодные дожди... и это еще одно подтверждение подлинности картины. Смотрите, весь пейзаж буквально вибрирует воздухом; красочный слой в некоторых местах холста... вот тут... тут... и тут лежит драгоценными сгустками.

Он осторожно и чутко, как слепец, подушечками пальцев обеих рук огладил холст, откинулся и широко улыбнулся, давая углубиться детски доверчивым черточкам в углах рта:

— Вам ничего не напоминает эта поверхность? А? Например, мозаику... Может, вам будет интересно: для восстановления красочного слоя после частичного просыхания Фальк протирал поверхность холста чесноком — чтобы размягчить верхнюю корку. Александра Вениаминовна Азарх-Грановская, его свояченица, рассказывала моему другу, который был вхож в дом в годы ее глубокой старости, что однажды ей стало дурно от резкого запаха в квартире — у нее была аллергия на чеснок. Она пошла на запах и обнаружила на балконе протертую чесноком картину. И хотя со времени написания вот этого пейзажа прошло лет шестьдесят, наш знакомый старичок, наш инвалид с Лаврушинского, наверняка унюхал бы своим чудовищным соплом давно угасший запах. Может, и вам повезет? Нагнитесь пониже...

Заинтригованный Владимир Игоревич послушно нагнулся, доверчиво протянул лицо к самой поверхности холста — так тянут дрожащие от страсти губы к вожделенному лону — и шумно втянул носом воздух. На его серой глянцевої лысине обнаружилась звездная россыпь багровых родинок.

— Ей-богу... — прерывисто вдыхая, взволнованно проговорил он, — а ведь, ей-же богу, слабый запах... есть! Я, знаете, его и ночью слышал. Откуда здесь, думаю, чеснок?

Он выглядел потрясенным, покоренным... и уже ликовал.

— Нет, погодите, — Кордовин остановил его поднятой рукой в синей вязаной перчатке. — Где ваша до-

бросовестность, коллега? А еще гонорар получаете. Мы не закончили. Итак... В картине, повторим, преобладает любимая палитра Роберта Фалька: серые тона самых разнообразных оттенков — от желто-зеленовато-серых до фиолетово-серо-жемчужных. Эту общую серовато-голубовато-охристую гамму взрывают два пятна: изумрудно-зеленый куст за забором и красная крыша дома... Кстати, это бывший дом священника, с огромным старым садом, липы вековые, ветхая терраска... — все можно прочесть в воспоминаниях Ангелины Васильевны, вдовы. И при внимательном рассмотрении можно заметить: разнообразные оттенки зеленоватого и красноватого эхом рассыпаны по всему холсту, как бы отзываясь основным цветовым аккордам. Это все тот же Фальк: его удивительная живописная цельность при сложнейших цветовых градациях... Я вижу, вы утомились?

— Что вы, несколько! — с жаром воскликнул толстяк. — Я наслаждаюсь, я...!

— ...ну, и наконец. В углу полотна, на заборе, невесомым, но оживляющим белым мазком обозначена голубка, сидит — нахохлилась в мелкой мороси дождя.

— Голубка, правда! — почему-то умилился коллекционер, щурясь и вглядываясь в пейзаж. — Надо же, а я ее и не заметил вначале.

— *Вот и лето прошло*, как писал один хороший поэт...  
Всё, Владимир Игоревич!

Кордовин откинулся в кресле, снял очки и устало помассировал прикрытые веки большим и указательным пальцами левой руки.

— Академическим языком выражаясь, это — частное экспертное заключение, основанное на тщательном осмотре и анализе живописного слоя картины. А попростому, по-нашенски: хрен вам такую живопись на-

клепают шустрые ребята из подпольных мастерских где-нибудь в Далият-аль-Кармель. Они все больше кандинских-малевичей строгают — тех легче подделать. А такой живописец им не по зубам, нет... Вы, конечно, можете еще обратиться в какое-нибудь солидное учреждение за комплексной экспертизой, с применением спецоборудования... — маслом каши, как говорится, не-не-не. Но, полагаю, ничего нового они вам не сообщат. Держите, коллега, своего Фалька!

— Пот-ря-са-юще!

— Ничего потрясающего, дорогой Владимир Игоревич. Это всего лишь наработанный опыт довольно длинной жизни. Мой винницкий дядя Сёма в таких случаях говорил: «Я ж на этом собаку съел и вторую доедаю».

— Да что вы, Захар Миронович, вы еще, простите, паца-ан!

— Ну-ну... если пятый десяток — пацанство, давайте будем жить хотя бы до ста двадцати. Однако — всё, трещу по швам! Пойдите — ведь еще заключение писать. С этой моей корявой рукой. Слушайте, Владимир Игоревич... я вот достаю мой личный бланк, видите, со всеми регалиями... Не откажите, голубчик, вместо меня написать пару слов — надиктую какие, — а я левой самолично подпишу, она у меня первая заместительница правой. И фотографию работы подпишем, как полагается.

— Да конечно, конечно!

Толстяк бережно разложил на столе переданный ему сиреневатый бланк с бледно проступающим, как водяные знаки на купюрах, известным автопортретом Эль Греко, с крупной «шапкой» поверху листа, в которой перечислялись все должности и звания Захара Мироновича Кордовина; приготовился писать диктант, ни дать ни взять — усердный второклассник.

— Все просто и емко, как библейский стих, — сказал Кордовин. — Скучно словами, но смыслом богато. Не будем разводить искусствоведческие туры на колесах. Пишите: «Пейзаж «Пасмурный день точка Хотьково», размер 65 на 80 сантиметров, после проведенного осмотра и анализа живописного слоя...»

Далее минут десять он разводил искусствоведческие туры на огромных колесах... Тут было перечислено все, о чем он говорил выше, но в переводе на усредненный язык всех экспертных заключений научно-реставрационных центров.

— ...исходя из вышесказанного, считаю данную работу подлинной картиной художника Роберта Рафаиловича Фалька, написанной им, как и остальные известные холсты этого периода, в августе 1946 года, в Хотьково». Вот и все. Давайте ручку.

Он склонился над бланком и подробно, мелко и тщательно — не расписался, а, как всегда, каллиграфически ровными буквами полностью вывел имя.

И выпрямился:

— Ну, не молодчага ли моя левая? Я ее скоро правой назначу.

— Пойдите! — решительно ввинчивая ладони одну в другую, сказал Владимир Игоревич. — Знаю, что торопитесь, но без обмывки — не от-пу-щу!

— А я и не откажусь, если мигом. Я, грешным делом, люблю «Курвуазье»...

Владимир Игоревич сноровисто и деловито разлил коньяк по бокалам. Передал Кордовину.

— Ваше здоровье! — улыбнулся тот глазами, приподняв рюмку и слегка баюкая тяжелый янтарный сгусток на дне.

— Нет уж! — возмутился Владимир Игоревич. Он покраснелся, вспотел, был возбужден, как после удачно заключенного контракта. Симпатичный мужик, искренне влюбленный *в искусство*, то бишь в наше грязное болото. И такая восторженная доверчивость в лице. Бородавки пылают от волнения. Может, он и вправду заработал свои миллионы собственными изобретениями? Может, никого не убивал, не грабил, не жег животы конкурентов утюгом?

— Нет, не мое, а ваше здоровье, Захар Миронович! Какой вы мне класс сейчас показали, а? Это ж отдельных денег стоит! Щедрость какая, высокий класс! А ведь при такой спешке могли бы в три минуты начирикать заключение, да и лететь себе дальше. А вы вот не пожалели времени, прониклись моей страстью... Я ведь, каюсь, все за Сарабьяновым охотился — такое имя в искусстве, оно и понятно. Да только картину вывозить, потом сюда ее обратно ввозить... морока такая, что все не в радость. И тут мне Морис, фамилии никак не запомню... ну, из галереи «Персей», тот, кто на картину, собственно, и набрел, говорит — на черта тебе Сарабьянов, когда тут у нас Кордовин живет, эксперт международного класса. Ну, я и бросился вам звонить. А сейчас, после нашей встречи... я просто очарован: блистательный профессионализм, эрудиция фантастическая, а главное...

— Ну, я рад, я рад... — торопливо проговорил эксперт международного класса, допивая коньяк. — Теперь уж отпустите меня, голубчик, Владимир Игоревич, а то самолет улетит. У меня рейс через три часа!

Толстяк охнул, приобнял его за плечи и повел к дверям. В коридоре тот остановился и, прежде чем подхватить чемодан, проговорил, подавая руку:

— А я все по Маяковскому: левой, левой, левой!

— Золотой ус, помните: золотой ус на ночь, и обернуть теплым!

Горячо поручкались *лево-правой*. Видно было, что толстяк готов был его обнять от всей души. Нет, вот эти родственные восторги, пожалуй, излишни. Теперь последнее. Сыграем-ка *Рассеянного с улицы Бассейной*...

Он с озабоченным видом устремился к двери.

— Захар Миронович!!! — завопил толстяк, схватившись за виски. — Боже ж ты мой!!! А гонорар-то, гонорар?!

Оба хлопнули себя по лбу и расхохотались. Толстяк рысью кинулся к пиджаку, обвисшему на стуле, запутался в карманах *лево-правых*... наконец вытянул конверт и вручил Кордовину. Тот, не заглядывая внутрь и не считая, опустил его в карман.

— Ну-у, молодцы-и... — приговаривал Владимир Игоревич, ахая и крутя головой, — оба молодцы!

И когда эксперт уже взялся за ручку двери, Владимир Игоревич тронул его за плечо и проникновенно выдохнул:

— Ну, гляньте же, гляньте в последний раз — ведь хорош, а? Хорош?!

Кордовин обернулся.

Пейзаж Фалька стоял на диване и в дымно-утреннем мареве из распахнутой на балкон двери мерцал всеми своими драгоценными зелеными, серовато-желтыми, серебристыми... Венера, рожденная из пены морской! Моря, впрочем, Мертвого... Так что ж: *мертворожденная Венера?*

— Не хорош, — с нажимом проговорил он, — а велико-лепен!



Уложив чемодан в багажник, он снял пиджак и потянул галстук с потной шеи. Ну и климат! Начало апреля, в Европе всюду проливные дожди, а тут круглый год — парная.

Стащил с руки и брезгливо бросил на заднее сиденье осточертевшую ему шерстяную перчатку. Вот и ладушки... И не забыть выпить по дороге кофе у бедуинов. Нигде в мире — ни в Италии, ни в Греции, ни в Турции — он не пил такого кофе с кардамоном, как на местном пляже, в захудалой, на скорую руку склепанной стекляшке.

Поехали, благословясь... Боже, как эта соль слепит под солнцем. Могучий ровный кобальт, *если взяться*. А Фальк... что ж, Фальк — хорош... Еще бы не хорош — ведь вышел он из-под его собственной, Захара Кордовина, руки. Вот этой самой, артритной.

*Если не считать перенесенного в третьем классе гонконгского гриппа, он никогда ничем не болел.*

Иорданские горы, библейские горы Моава пребывали в туманной розовой дымке.

Хотелось протереть несуществующие очки или пальцем соскрести пленку с этой сиреневатой гряды, как с переводных картинок его детства. Их покупал в отделе игрушек винницкого универмага, что на Каличах, дядя Сёма («ребенок должен трудиться не важно что!»), и это было занятие на целый вечер.

В глубокую суповую тарелку наливалась теплая вода. Мутная, как целлулоидная, картинка (дом за забором, дерево, птичка на крыше — чистый Фальк!) прилежно вырезалась ножницами из общего листа и погружалась в воду: *набирала*... Затем ее отряхивали от капель, быстро переносили на чистый сухой лист альбома, быстро и ров-

ненько лепили «спиной вверх», чтобы *взялась покрепче...* Ну и, наконец, в дело вступали подушечки двух пальцев — указательного и среднего, они и сейчас самые чувствительные и самые рабочие. Тихохонько, легчайшим круговым движением пальцы приступали к разрыхлению верхнего слоя бумаги... Надо было пробиться к картинке, проникнуть к спящей красавице сквозь тугую мутную пелену, скатывая осторожно, почти не дыша, катышки мокрой бумаги... И вот в сердцевине вдруг обнажился чистого стального цвета хвост истребителя! *«Гляньте, что витворяет этот ребенок! У него пальчики, как у вора Володьки! Надо его по искусству пустить!»*

М-да... а ведь, по сути, это все тот же процесс расчистки живописи, и все то же замирание сердца, по-детски высунутый кончик языка и вечное ожидание чуда.

Он вел машину не шибко, на небольшой скорости, любуясь переменчивой игрой изумрудно-кобальтовых тонов справа и огибая выступающие на дорогу слева слоновьи колени и крутые ребра карстовых скал.

*Торопиться было некуда. Его самолет улетал только ночью.*

По мере того как солнце поднималось над морем, ежеминутно менялось освещение, состояние воздуха, цвет воды: вначале нежная бирюза с длинными прожилками темного малахита, затем лазоревая гладь с каждой минутой все более сгущалась до изумрудной зелени. Наконец чистый и яркий сапфировый слиток больно засиял в окружении пепельно-розовых гор...

...А что это я и вправду никогда Жуке веера не привозил, спохватился он весело. Шали там дурацкие, сувениры какие-то, брошки-бусы. А вот веер — ни разу.

Думал — банальность, пошлость цыганская, — и зря. В такую жару старуха хоть ветерка себе на нос навеет.

На развилке он свернул вправо, к морю, проехал метров двести по узкой грунтовой дороге до бугристой, в рытвинах, площадки, припарковался и вышел. Этот полудикий пляж недавно облагородили, оградили штакетником из прутьев, сколотили дощатый настил до самой воды. А заброшенное кафе-стекляшку прибрало к рукам какое-то предприимчивое восточное семейство.

И сейчас тут дивный оазис — да и долго ли у нас соорудить благословенный рай Магриба: разбросали цветастые подушки по деревянным лавкам, расставили стеклянных вазочек по пластиковым столам, развесили по стенам расшитые бисером лоскутные покрывала с зеркальцами. Главное, чтоб поярче-позвончее, позабористей, ведь тон здесь задает самое большое и блестящее, самое сине-зеленое, самое зеркальное вдоль берега покрывало...

— ...но очень горячий! — Он строго поднял палец, и парень ушел варить кофе. А он наконец включил беспрестанно голосащий мобильник.

— Ты в аэропорту? — Ирина.

— Да, дорогая. Прости, не слышал звонка в этом шуме. Прохожу паспортный контроль...

Он, шурясь, глядел, как в проеме распахнутого окна искристо полыхает тяжелая глицериновая шкура воды.

— Я вроде хамила тебе утром? — неуверенно осведомилась она.

Он улыбнулся, так чтобы она эту улыбку *улышала*...

— Никогда и ни за что! — проговорил твердо. — Ты самая нежная и трепетная. Ты знаешь кто? Моя «паломанка».

— Что-что?! Чудила, какой еще поломанный бланк?

— «Blanca paloma», любовь моя, по-испански значит — «белая голубка»...

Не переставая улыбаться, он кивнул парню, молча благодаря за принесенный кофе, и пальцами, собранными щепотью, показал, чтобы тот принес орешков или чего-то такого...

— Но это словосочетание — paloma blanca, — ты слышишь меня? — имеет еще и религиозный смысл. В народе так называют образ Богородицы из городка Росио, недалеко от...

— Ну-у-у... пошли-поехали куплеты тореадора.

— ...недалеко от Севильи. Туда каждой весной, где-то в мае-июне, на Пентекостес, это Пятидесятница, идут паломники. Целые процессии. И знаешь, очень эффектное зрелище: все в национальных костюмах, танцуют, песни поют — «севильянас», флейты тоненько так выются, барабаны отчебучивают: тр-р-р-р-р... тр-р-р-р-р... тра-та-та-та-та!..

— Да ладно тебе, — довольно проговорила она. — Я здесь распаренная. Сейчас на массаж позовут. Черт с тобой, лети в свою Испанию...

Он закрыл мобильник и пригубил обжигающий и тягучий, лучший на свете кофе. Вспомнил нахохленную под дождем птичку в пейзаже Фалька. Изящный штрих. Его улыбка, ненужное ухарство, конечно, рискованная игра. Но и — тайное рабочее клеймо.

«Ох, доиграешься ты, дон Саккариас, со своими белыми голубками», — то и дело повторяет ему Марго, энергично потряхивая рыжей гривой и тройным подбородком.

Он глядел на дружные вспышки длинных солнечных игл в вязкой синеве моря и ощущал изнеможение и счастье — похожее на то, какое в молодости испытывал толь-

ко с самыми любимыми женщинами и какое, вероятно, испытывают большие артисты после блистательных премьер. Изнеможение, счастье и гордое чувство *владения* чем-то сокровенным: крошечной, но великой частицей гения человеческого...

Деньги тут ни при чем. Возможно, грядущий Мессия, возродив мертвых, будет так же опустошенно счастлив... А вы, Роберт Рафаилович, вы счастливы там, в запредельных своих ипостасях? Ведь сегодня родился ваш новый шедевр, каждый квадратный сантиметр которого неопровержимо свидетельствует о вашем авторстве. Отныне он существует и будет существовать всегда — пусть сначала в частной коллекции, на вилле уважаемого Владимира Игоревича. Но рано или поздно детишки-внуки выставят картину на аукцион, непременно выставят, ведь к тому времени (когда не только вдовица-адвокатица *в мир иной укатится*, а я и сам уже буду тереть негасимые краски из пигментов райского сада), — к тому времени Фальк поднимется в цене на сотни тысяч веселых евриков, и уж это будет *подлинный* Фальк с *натуральной* историей.

И вот тогда, ангел мой хранитель, покровитель целой стаи белых голубок, выпущенных моею рукой, — тогда пошли удачи в торгах на том далеком аукционе эксперту какого-нибудь достойного музея.

Он кивнул пареньку, и тот направился к кассе — выбивать счет.

## 2

Миная Маале-Адумим — белый зубчатый гребешок на темени высокого холма — и оставив Иерусалим слева, он промчался новым шоссе по дну ущелья, взмыл на вершину, где оно сливалось с главным шоссе на Тель-Авив,

и продолжал двигаться в сторону аэропорта Иерусалимским коридором. Однако на развязке Шореш свернул направо, после стекляшки «Макдоналдса» — налево, въехал в поселок и узкой длинной улицей (тут вечно бродили коты, собаки, панически-злобные, с витражными хвостами декоративные петухи и даже павлины) медленно стал подниматься в гору.

Центральная улица богатого поселка была террасно застроена виллами, как обычно в гористой местности: слева дома возвышались в два, а то и три этажа, справа над оградами едва виднелись крыши вилл, уходящих под гору еще двумя этажами. И справа и слева поверх заборов вздымались колючие лапти кактусов и пышными лианами свешивались бугенвиллеи разных оттенков розово-красного, желтого, лилового. От этих цветных пятен, от черепичных крыш под синим вздыбленным, со сметанными островками, небом глазу становилось безотчетно весело.

Чем выше, тем улица виляла все кудрявей. Совершила два плавных пируэта, образованных новыми виллами — из темно-розового и желтого иерусалимского камня, — вывела на прямой участок дороги и минуты полторы тянулась всё вверх и вверх, вдоль самой кромки обрыва; наконец нырнула вправо, где споткнулась и разлеглась небольшим грунтовым пяточком перед деревянным, крашенным темной охрой забором, за которым, казалось, не было ничего, кроме ущелья.

Впрочем, конечно же, было.

Он вышел из машины и открыл багажник. Молния чемодана вновь раззявила щель, из которой был извлечен и отправлен в карман брюк все тот же, продремавший *мирное рождение Венеры*, бездельник «глок».

Повозившись, как обычно, он открыл амбарный замок на калитке, — старый арабский замок с мордой полу-человека-полульва: изумленно вопящая пасть являла собой допотопную скважину, и вряд ли у кого нашлась бы отмычка от такого иранского прадедушки. Вошел внутрь, причем замок совершил тот же путь и повис теперь на таких же скобах с другой стороны калитки — деревянной и ветхой на вид, выкрашенной откровенно халтурной рукою в тот же цвет тошнотворной охры.

Здесь начинался небольшой, неприбранный, но от-радный сад: несколько мандариновых, три апельсиновых и пять лимонных деревьев, высаженных вдоль грунтовой дорожки, на которой вразброс, хотя и последовательно-поступательно были положены разномастные плитки, какими в этой стране выкладывают полы: частью серо-крапчатые, частью кофейного цвета, с некоторым даже узором. Все явно стащенное с ближайших строек. На слу-чай дождя.

А дальше, вернее глубже, виднелся одноэтажный дом с террасой, к которой вели три каменные ступени — и сред-нюю было бы недурно подровнять цементом. Этот старый каменный дом за годы приобрел обманчиво-сиротливую внешность то ли сарая, то ли амбара, какую имеют многие здешние дома времен Британского мандата.

Внутри такие каменные сундуки неожиданно рас-крываются просторными залами с мощными белеными стенами и арочными перекрытиями высоких потолков; они отлично держат тепло зимой и прохладу летом. И для полноты счастья надо только, чтобы Нахман, у которого уже лет десять Кордовин снимал этот дом, решился на-конец его продать. Но у Нахмана подрастали два внука,

и старый хрыч уперся, полагая, что оставит халупу в наследство пацанам.

Ни одна душа, кроме старого Нахмана, не знала о существовании в его жизни этого убежища. Ну а Нахман ничего не знал о докторе Кордовине. Ничего, кроме русского слова «датча», которому его научил при подписании договора десять лет назад сам *Заккарья, сукин ты сын.*

Друзей, гостей, коллег, коллекционеров и женщин доктор Кордовин принимал по своему адресу, в скромной, но элегантной двухкомнатной квартире в иерусалимском районе Сен-Симон.

Ах, черт, перечисляя растительность сада, мы забыли про высокие простоволосые сосны по всему периметру забора, отчего земля во дворе пружинила слоем сухих игл, а главное, про два гранатовых дерева у самой террасы. Одно из них прятало в ветвях три с осени забытых плода, разных по цвету: два пепельно-пурпурных, с вдавленными щеками, и один — цвета насыщенного краплака. Надо бы ветви подвязать, озабоченно подумал Кордовин, поднимаясь по ступеням террасы. Ну, это уже после, после...

С минуту он прислушивался к тишине внутри дома, наконец раскупорил еще один, не менее диковинный и старый арабский замок — на сей раз в виде полуосла-полупантеры (уклончивая недосказанность Востока), — замок еще более сложной конструкции, чем тот, на калитке: в пасть осла-пантеры вставлялся длинный кинжал, который захлопывался — о, как трудно объяснить на пальцах — при помощи замкнутого и выдвигавшегося из задницы осла-пантеры хвоста.

Войдя внутрь, задвинул на двери засов, простой и brutальный железный штырь на манер средневековых, сработанный в одной из мастерских Старого города, где хи-



троумные умельцы лудят и паяют древние монеты времен Второго храма, оправляют в серебряные оклады щепочки от *подлинного Святого распятия* и старят лоскутья *подлинной Туринской плащаницы*.

Ну, вот и славно.

Впереди у него было несколько часов глубокого тишайшего одиночества.

Внутри дом являл собой довольно странное для европейского глаза, но здесь привычное пространство: прямоугольную комнату метров в тридцать, с тремя высокими, забранными решеткой стрельчатыми окнами против входной двери. Назначение решетки представлялось неясным, так как среднее из окон оказывалось дверью в смежное помещение, большое и очень светлое — сюда из него доплескивал сквозной зеленоватый свет — от лесистого склона за следующими наружными окнами...

Помимо одинокого топчана и бамбукового кресла-качалки, да еще такого же бамбукового столика со стопкой книг, увенчанной яблочным огрызком, здесь ничто не напоминало человеческое жилье. Скорее это был склад товаров неопределимого рода производства. Один из тех чуланов, куда годами сваливают и стаскивают самые разные вещи.

Тут штабелями стояли старые рамы, подрамники, планшеты и деревянные планки, рулоны холстов и бумаги, коробки без этикеток, картонки разных размеров и форм, ящики со всеми видами гвоздей. Вдоль стен тянулись какие-то бутылки и пластмассовые канистры; прямо на полу громоздились башни аукционных каталогов за несколько лет и стопка справочников красочной фирмы «Кремер».

В углу развалилась большая плетеная корзина с луком и чесноком, добавляя к устойчивому запаху скипидара, клея, лаков, старого дерева и старых холстов свою суховато-терпкую компоненту... В довершение картины пузатый бумажный мешок кошачьего корма венчал пирамиду из двух дощатых ящиков, набитых обыкновенными булыжниками.

Гора драпировок заваливала кресло, атрибутировать которое псевдоантикварным (такой мебелью во множестве торгуют *на улочках Шўка Пишпишиім*, блошиного рынка в Яффе) оставалось только по изысканной витой ножке, кокетливо глядящей из-под складок бурого пледа.

Была еще газовая плита в углу и нечто вроде кухонного шкафчика, на боковой стенке которого висела целая коллекция разновеликих турок, или, по-здешнему, *джезв*, для любой компании, хотя компанию составлял себе в этом доме один лишь человек — он сам; даже Нахман не смог бы попасть в свой дом, да он и не особо совался: *суккин ты сын Закарья* всегда платил за год вперед и на стук в калитку не отзывался.

Но стоило приблизиться к стеклянной двери в соседнее помещение и заглянуть туда через решетку, взору открывались совсем иные пространства.

Тремя ступенями ниже (склон горы уводил за собой эту, слегка утопленную, часть дома) раскинулась великолепная широкая зала с аркадой огромных, во всю стену, полукруглых окон, глядевших в лесистое ущелье. И там, за вершиной ближайшей горы, акварельно-туманно проступали другие гребни, с рассыпанной по ним красной черепицей крыш окрестных кибуцев и поселков вроде Шореша.

И вот в этой-то зале — а дверь в нее оберегалась пуше входа в сераль — надо было наклониться и пошарить как следует в корзине с луком и чесноком, нащупать на дне, среди сухой и ломкой, цепляющей пальцы шелухи, ключ от решетки, — в этой зале царил отменный порядок, хотя вокруг широкого — в четыре квадратных метра — стола со столешницей из полированного здешнего камня были произвольно расставлены:

верстак с набором столярных инструментов;  
фундаментальный мольберт с винтовым подъемником;  
открытый этюдник с выскобленной до яичного блеска палитрой и странные козелки, вокруг которых установлены были два голенастых, как аисты, подвижных софита-рефлектора.

Вдоль стен располагались три разновеликих шкафа.

За стеклянными дверцами первого, лабораторного по виду, выстроилось несметное множество банок, колб, бутылок и склянок, а также коробок с тубиками разных размеров.

На внутренней стороне дверей второго шкафа — высокого и просторного, как платяной, — в специальных гнездах сидели различные инструменты: кисти, ножи, мастихины, скальпели, пинцеты, молотки и ножницы, щипцы, железные линейки, палитры и еще десятка два предметов необъяснимого назначения. В этом шкафу хранились на полках: утюги чугунные и электрические, электрошпатель, аэрограф с компрессором для распыления лака, лампа-лупа, микроскоп, дорогие фотоаппараты с несколькими объективами. Наконец, портативный рентгеновский аппарат и пылесос.

Третий шкаф своей глубиной напоминал скорее огромную тумбу без полок, в которой рядком стояли несколько холстов на подрамниках.

Окна в этой зале не нуждались в решетках, вряд ли кто смог бы сюда подняться снизу: дом даже слегка нависал над обрывом, создавая иллюзию врывающейся в ущелье каравеллы. Перед окнами можно было стоять часами...

Склоны гор — и этой, на вершине которой двумя широкими скобами уселся дом, и той, что напротив, — не были засажены, как повсюду в окрестностях, скучными соснами. На их древних, разровненных и подпертых рядами камней террасах в вечном движении пребывали беспокойные кроны олив. И когда налетал внезапный шквал ветра, серебристые эти кроны рокотали партитами Баха.

\* \* \*

Времени до полета оставалось все еще достаточно, во всяком случае, вполне достаточно для тех нескольких дел, которые надо было непременно завершить.

Для начала он включил кондиционер, переделся в старый спортивный костюм, вынул из шкафа и надел длинный, как у официантов, фартук; снял стоявшую на мольберте картину и перенес ее на козелки, положив лицевой стороной вверх.

Из шкафа со стеклянными дверцами достал вату, баночку с лаком, склянку с пиненом, бутылку скипидара и компрессор с аэрографом. Все это выставил рядком на столе. Затем минут пять подготавливал работу: разводил лак пиненом, возился с компрессором, проверяя на листе бумаги равномерность распыления.

В древности иконописцы лакировали иконы, растирая ладонью и тонко разравнивая по дереву небольшое количество олифы: мастер использовал тепло руки, чтобы лак дольше сохранял подвижность. Иногда между первым и заключительным покрытием проходили недели и месяцы, а то и годы. И первая лаковая пленка должна быть как можно тоньше, тогда остается возможность «нагнать» лак постепенно, дабы места тонировок по фактуре не отличались от авторской живописи.

Первый слой лака на этой картине просыхал здесь сутки, в прохладной тишине дома. Ну а сейчас... сейчас мы добавим красавице еще один покров невесомой кисеи...

Закончив распыление, он несколько мгновений стоял над полотном в полусогнутом положении, напряженно — против света — вглядываясь в каждый сантиметр поверхности холста, отсматривая — нет ли пропусков в покровном слое.

Недурно, недурно... Оставим-ка ее с полчаса вздыхать в прозрачном коконе, когда она замирает, стынет... и вдруг сама обнаруживает, что запеленута отныне тончайшими покровами.

Наконец он разогнулся и ватой, обильно смоченной в скипидаре, стал тщательно протирать руки...

На картине был изображен берег моря, одно из тех безмятежных курортных местечек, каких много на Лазурном Берегу в районе Ниццы или Антиба.

На переднем плане в сквозистой голубоватой тени от тента, что заглядывал в картину слева краешком синего подола, стоял деревянный обшарпанный стол, по которому разбросаны были несколько яблок. В простой стеклянной вазе млел на жаре букет мелких полевых цве-

тов. Полоски берега и моря на заднем плане сияли под полуденным солнцем, в волнах воздевали руки две купальщицы. Морская лазурь и желтый комковатый песок составляли основной цветовой контраст полотна; этот живописный аккорд более плотно повторяли желтые бока яблок и приглушенные блики на теневой поверхности стола, где в голубоватой тени на переднем плане — над свежесрезанной половинкой яблока — угадывались клюв и круглый глаз прилетевшей белой голубки.

Вся картина была пронизана светом, прописана множеством прозрачных слоев; всё на холсте — и предметы, и люди, и освещенные и затененные места, — всё купалось в той невесомой световоздушной дымке, что зависает летним полднем над любым морским побережьем.

И если бы гипотетический зритель всмотрелся, он без особого труда смог бы разобрать в правом нижнем углу холста подпись живописца: «М. Larionov» — маленькими колченогими буквами, столь характерными для подписи знаменитого художника.

Картина была завершена, и вот уже покрыта слоем лака... но *не готова*. То есть она могла бы украсить собой любую выставку и стену любого музея... но не была готова зажить реальной *подлинной* жизнью: еще не придумана была, не найдена *история находки*, не выбраны *приемные родители*, не намечен покупатель. Три-четыре года пройдут, пока *усядется* живописный слой... Три-четыре года, в течение которых будут выплетаться искусные узоры случайных встреч и любопытных знакомств, вестись переписка с владельцами, осуществляться медленные рокировки на шахматной доске обстоятельств. Плавная паванна, его любимый период сотворения мифа, как ми-

кроскопический скол *сотворения мира*: созревание ситуации, наполнение картины плотью и кровью *судьбы*.

Да-да: «и вдохнул дыхание жизни в ноздри ея...».

Все еще было у нее, у воздушной красавицы, впереди...

Он вспомнил сегодняшнюю удачу с Фальком. Увы, отнюдь не всегда так просто, *так чудесно просто* складываются биографии картин. Там сразу повезло: едва он увидел дилетантский пейзаж над кроватью вдовицы-адвокатицы (случайный заезд в Рамат-Ган, Ирина упростила заглянуть к *старой милой даме*, у которой она в первые годы снимала комнату), как только он узрел эту жалкую попытку неизвестного любителя — но год, но холст! — он немедленно *запустил проект*.

Сейчас перед ним возникла квартира в Рамат-Гане, от затхлого старческого запаха которой под конец *посещения* его уже мутило. А вдова, со своими нескончаемыми просьбами и претензиями — в последние недели перед *унесением ног* она его даже в магазин за картошкой гоняла, — вызывала жгучее желание свинтить ее седую головушку набок. Чтобы втемяшить название картины в эту головушку, ему пришлось повторять его в бесконечных беседах раз восемьсот.

«У вас такая о-ча-ро-вательная улыбка, Захарик...». Это десятки разнонаправленных действий, похожих на мельчайшие движения распяленной пятерни кукловода, с привязанными к каждому пальцу нитями, благодаря которым арлекин одновременно топает ножкой, вертит головой, бренчит на струнах гитары и раскрывает рот: картинку надо выцыганить так, чтобы адвокатица не уперлась каракатицей; временами звонить Морису, намекая, что нащупанный им, Кордовиным, *неизвестный Фальк* вот-вот попадет к нему в руки и можно присматри-

вать клиента... Наконец долгая мучительно-сладостная работа над самой картиной, когда ты не то что погружен в манеру художника, не то что живешь ею, а просто становишься им, этим единственным мастером, с его единственным стилем, его взглядом на свет и предметы, в которых свет этот преломляется, способом держать кисть или мастихин, привычкой работать только в утренние или полуденные часы... — одним словом, когда ты, подобно Всевышнему из космогонической теории каббалы, сжимаешься и умалещаешься сам в себе, дабы освободить место рождению *новой сущности*...

Со двора донесся сдвоенный кошачий вопль.

Ага, Чико заявился — как это он безошибочно чует его приезды! — а по пути не отказал себе в развлечении задраться с каким-то прохожим господином.

Взбежав по ступенькам в первую комнату, он отодвинул засов и выглянул наружу.

Во дворе намечалось шикарное сражение: его Чико, матерый черный котище, стоял нос к носу с рыжим выскочкой; оба остервенело огуливали себя хвостами и взреывали — сирым тенором и колоратурным сопрано — в малую терцию, забираясь в голосовом поединке все выше и выше, нагнетая истерическое напряжение, срываясь на визг. Оба противника дрожали от ненависти, и ни один не решался напасть.

Первым не выдержал эксперт международного класса.

— Дерись!!! — пронзительно крикнул он, присев и уперев ладони в колени. — Дерись, падла!!!

Оба кота, как по свистку судьи, взвыли, подпрыгнули и, сплетаясь в воздухе, вместе рухнули на землю.



И еще минут пять они взлетали, сшибаясь и мерзко вопя под азартные крики: «Дери его!!! Рви его, гада!!!» — пока все не устали...

Наконец рыжий потрусил восвояси, утробно завывая и волоча разодранный хвост. Чико, шатаясь, прибрел к довольному хозяину.

— Ну, что, — спросил тот. — Что, разбойная твоя рожа? Понял, как достается победа?

Отворил дверь и впустил кота в дом.

Та комната, которую с полным правом можно было назвать кладовой, видимо, была известна коту досконально. Во всяком случае, он безошибочно нашел в углу пустую миску и принялся мордой возить ее по каменному полу, пока хозяин доставал катышки сухого корма из большого бумажного мешка и наливал в другую миску воду.

Затем Чико разбирался с едой — не так уж чтоб судорожно чавкая от жадности, — все же по округе было много изобильных помоек, а Чико, похоже, собирал дань с окрестных котов, то есть был местным цыганским бароном.

Хозяин в это время варил себе кофе на плитке.

В холодильнике был обнаружен приятный сюрприз — забытая нераспечатанная пачка нарезки; и оба кота — один сидя в кресле-качалке, другой ошиваясь внизу, с опасностью угодить под мерно скрипучий бамбуковый обод, — недурно перекусили: когда еще дождешься того самолетного харча, рассудительно проговорил старший...

Он слегка сомлел от кофе и незаметно для себя самого задремал, все реже поскрипывая креслом и уже не чуя, как мягко вспрыгнул к нему на колени Чико, свернулся на фартуке и тоже затих...

Где-то в нижних дворах дурным заполощным голосом крикнул павлин, ему дружно ответили собаки, перебра-

сываясь лаем через заборы... Проехала машина, и снова все стихло — сюда не доносился шум дороги.

Еще минут через пять свет в комнате стал тускнеть, меркнуть... померк, сгустился дремотный сумрак, лишь из больших окон нижней залы, мастерской, бледным ручейком истекал уходящий день.

...Тогда вошла мама, кутаясь в накинутую на плечи веселую свою кофту — зеленую, с желтыми цветочками по вороту и подолу, — вышла из сумрака, подошла близко-близко, подула сыну на лоб, как всегда, когда будила, и позвала, тихонько смеясь:

— Забывака... за-бы-ва-а-ка...

Он проснулся, но глаза не открыл, безуспешно пытаюсь удержать теплое дыхание с легким ароматом ее любимых тыквенных семечек и безалаберный смех...

Не было случая, чтоб она не напомнила ему *о дате*, если он забывал. Умница мама...

(Что с того, что у этой девки золотая голова, повторял с горечью дядя Сёма, если она шалава, шалава и есть!)

Сегодня была годовщина ее смерти.

Он согнал Чико с колен, поднялся и нащупал в шкафчике спички и толстую поминальную свечу. Медленно запалил ее в густых сумерках: как быстро все же темнеет здесь, в горах... Огонек пыхнул и встал, ровно-весело подрагивая, готовый держать вахту целые сутки.

*И как всегда, безмятежный этот огонек занялся неукротимым пламенем того погребального костра в углу двора, где после маминой смерти они с дядей Сёмой жгли ее смертное ложе: все эти окровавленные простыни, подушки, покрывало... и взлетающие перья горели адским пламенем в причудливом растрепанном вихре огня, взметались и улетали ввысь... Как твоя жизнь, мама...*

— *Как вся ее жизнь, этой шалавы, шалавы!* — крикнул дядя Сёма, и тогда он, мальчик, бросился на дядьку, сшиб его с ног, и они катались по земле и колотили друг друга, будто соперники, будто за живую дрались...

Он установил свечу на плоской медной тарелке — так она мирно догорит себе в тишине оставленного дома.

Вот и всё, мама...

Оставалось последнее.

Он зажег настольную лампу, включил ноутбук, открыл почтовую программу... С минуту размышлял, машинально прислушиваясь к хищному шороху, с которым Чико инспектировал все углы кладовой.

Потом тряхнул головой, прогоняя дремоту, и быстро защелкал по клавишам:

«Дорогой Люк, я так рад, дружище, что ты отозвался и помнишь меня — ведь прошла чертова пропасть лет с тех пор, как я прислуживал тебе в славном чертовом портовом пабе — помнишь *задрьгу Адель*? Хотел бы знать, как ты поживаешь, коллекционируешь ли до сих пор монеты. Не могу забыть нашу с тобой великолепную сделку — с каким жарким блеском в глазах ты попросил у меня любую советскую монету. А у меня в кармане завалились два пятака на метро. И когда я вытащил из кармана пятак — огромный и новенький, желтый — ни дать ни взять золотой, — ты просто в ступор впал. Предложил за него 20 долларов. Признаюсь тебе, это была самая выгодная (в процентном отношении) сделка за всю мою жизнь. Если встретимся, обещаю привезти римскую монету императора Тита — это редкость, если не знаешь.

Пытаюсь представить, как ты сейчас выглядишь, и мысленно вижу матерого морского волка, хотя Стиви пил мне, что к морю ты отношения уже не имеешь, а на-

оборот, сухопутен, как старая калоша, и более того...» — Он опустил руки, задумался... Вспомнил длинное темное помещение портового паба, свой фартук — просто широкое полотнище цвета хаки, обернутое вокруг талии, — стопку порножурналов, менять которые на свежие тоже входило в его обязанности. Задумчиво проиграл пальцами на губах, как на клавиатуре, несколько шведских ругательств... спохватился и продолжал: «...и более того: возглавляешь какое-то сыскное агентство».

Для этого письма он выбрал не английский, на котором Люк, конечно же, свободно и говорил и писал, а испанский, родной язык коротышки-латиноса. В том, что пройдоха Люк занимается в Штатах частным сыском, была своя логика: лет тринадцать назад этот странный парень знал все порты мира, всех девиц, живущих в округе, все вакансии на судах, курсы валют, погоду, нравы и странности каждого капитана... Одни с ним приятельствовали, другие считали осведомителем и предпочитали держаться подальше. В пабе он обычно брал себе порцию виски, которую бесконечно разбавлял содовой и сидел с ней весь вечер. Иногда, если присмотришься, становилось заметным, что он совсем трезв и на ту или иную компанию бросает внимательные взгляды, прислушиваясь к разговорам.

А может, уже тогда он сотрудничал, скажем, с... Интерполом? или еще с какой-нибудь полицией или разведкой? Следует ли сейчас неосторожно обращаться к нему, раскрываясь пусть даже и на ничтожную малость?

Впрочем, думал он только минуту и снова глухо зашелкал:

«Решаюсь обратиться к тебе с просьбой — думаю, для тебя пустяковой. Много лет я безуспешно разыскиваю одного человека — возможно, потому, что нерадиво ищу,

а может, потому, что он очень не хочет найтись. Во всяком случае, я потерял надежду справиться с этим в одиночку. Недавно у меня возникло подозрение — пока не стану вдаваться в подробности, — что он обитает где-то во Флориде. Он русский, по профессии врач, сексопатолог, крупный коллекционер живописи и антиквариата, зовут его Аркадий Викторович Босота — если, конечно, его имя ему по-прежнему нравится. Год рождения — надеюсь, память не изменяет мне, — тридцать седьмой. Фотографий его у меня никогда и не было, и внешность описывать не стану: во-первых, прошло много лет с тех пор, как мы расстались, во-вторых, он из тех, кто по разным соображениям может и перекроить собственный профиль. Впрочем, вот: чрезвычайно высок (не подрубил же он себе ноги). Во времена моей молодости выглядел настоящим верзилкой — где-то метр девяносто, если не более. Хотя, опять-таки, с годами мог усохнуть. Его нежелание светиться — от необходимости скрывать свою богатейшую коллекцию. Мне нужен только адрес, всего лишь адрес сего господина — лет пятнадцать назад мы не договорили с ним по некоему, чертовски интересующему нас обоим вопросу, — скажем, об авторстве одной из гравер Дюрера...»

Он подумал, что испанский язык, в отличие от английского, выдержал бы и какой-нибудь романтический завиток *о крови убитого друга, что вопиет с земли*, и на испанском это даже не было бы дурным вкусом. И ему, пожалуй, хочется, очень хочется написать эту фразу — «*La voz de la sangre de mi hermano clama a mi desde la tierra*»<sup>1</sup>, — возможно, потому, что впервые за много лет

---

<sup>1</sup> «Кровь тобой убитого брата вопиет ко мне от земли» (*исп.*).

он вышел на след, впервые появилась надежда, что скоро ему не стыдно будет смотреть в лицо мертвому Андриюше.

Нет-нет, подумал он. Никаких резких движений. Надо же, как тебя сегодня развезло. Донимают тебя твои покойники. К чему бы это...

Он удалил две последние фразы и вместо них набрал: «Мне нужен лишь почтовый адрес господина Босоты, потому что...» — но рука зависла и убрала даже эту попытку объяснения. Никаких объяснений.

«Думаю, мне не надо подчеркивать, что твоя (или твоих ребят) работа, как и все расходы по этому делу, будут немедленно оплачены. Назови только сумму аванса, которую я готов переправить тебе туда, куда скажешь. Обнимаю тебя, Люк, твой *Святой Саккариас*, бывший бармен затрапезного паба стокгольмского грузового свободного порта Фрихамнен.

P.S. А помнишь, как мы с тобой разнимали драку Стиви с этим крепким седым канадцем, кажется, его звали Ник (однажды я услышал от него: «Добра картопля» — из чего заключил, что никакой он не Ник, а скорее Мыкола и в прошлом был бандеровцем или полицаем), а потом отвозили недурно отделанного им Стиви в госпиталь, и в приемном покое к нам вышел медбрат: очень черный парень, в очень белом халате, с очень красной клизмой на шее?»

Вот теперь надо было торопиться.

Он спустился в мастерскую, осторожно, одними ладонями поднял картину с козелков и вернул ее на мольберт. И все-таки помедлил еще, отступив на три шага и охватывая взглядом всю ее целиком, как где-нибудь на высоком приеме охватываешь изумленным и гордым взглядом

любимую, с головы до ног наизусть выцелованную женщину, неожиданную и ослепительную, в полном блеске многочасовых стараний портного, парикмахера и косметолога...

Вот так и провел бы здесь перед ней всю ночь! «Ай да Пушкин, ай да сукин сын...»

Нет, сейчас уже время расправлять крылья и мчаться по взлетной полосе.

Паспорт, билет, безвкусные европейские деньги уютно укладываются в портмоне. Ах, да! Ленивый мой красавец...

Невыездной «глок» был привычно и сноровисто расчленен при помощи мелкой отвертки и разбросан среди инструментов в шкафу.

Переоделся он в две минуты, полторы из которых ушли на увязывание галстука. Уже на бегу запустил руку в мешок с кошачьим кормом и засыпал его в миску с приличной горкой. В другую миску долил воды, вынес обе на террасу. Так: чемодан, куртка... *присесть на дорожку.*

— Ну, бандитская рожа? Погостевал и будет. Иди себе с миром.

Чико с достоинством потрусил из дома, сильным и непринужденным махом взлетел на любимую развилку апельсинового дерева.

— С собою взять тебя никак не могу, — пояснил хозяин, — хоть ты и собака по паспорту.

Это была святая правда, Чико обладал собачьим международным паспортом: у ветеринара, того, что года три назад зашивал его порванное в очередном сражении брюхо, не нашлось другого бланка.

Кот молча сидел среди ветвей, мерцая желтыми египетскими очами из темной и глянцевой под светом фонаря кроны, наблюдая, как подробно хозяин запирает старые

арабские замки: сначала на двери дома, затем на ветхой калитке. Само собой, *ветхая калитка* на деле была цельнометаллической, но самолично и виртуозно раскрашенной рукою хозяина под деревянную, со змеистыми трещинами по доскам и глазками от спиленных сучьев.

На такую запирался когда-то в Виннице их дворовый нужник.

\* \* \*

Спустя несколько часов он уже выбирал тетке веер в одном из центральных сувенирных магазинов Мадрида — на том перекрестке, где всё новые волны туристов устремляются к кассам Прадо, едва зажжется зеленый на переходе.

Молодая черноволосая продавщица, по виду южанка, один за другим раскрывала перед ним веера на собственной полной груди — движением танцовщицы фламенко, — и все они его не устраивали аляповатым — *и движения тоже* — исполнением. Между прочим, у Жуки был совсем неплохой вкус, и выбор подарка для нее всегда требовал некоторого времени и внимания.

— Есть другие, — наконец проговорила девушка. — Очень искусной работы. Но они гораздо дороже.

— Покажите, *кариньо*<sup>1</sup>, — велел он со вздохом. — Это подарок тете, а у нее аллергия на жмотов.

Девушка с сомнением смотрела на него. Помедлила...

— Они значительно дороже, — повторила она с некоторым нажимом. Видимо, за более дорогими надо было куда-то тянуться, или наклоняться, или даже идти искать их среди ящиков на складе. — Может, для... э-э... тети все-таки лучше взять какой-то из этих?

---

<sup>1</sup> Кариньо — дорогая (*исп.*).



— Вы не знаете мою тетю! — укоризненно проговорил он, облакачиваясь на стекло прилавка, едва ли не касаясь подбородком ее груди. Трогательная композиция «Мадонна с младенцем». Повторил еще мягче: — Ты не знаешь моей тети, *сиело*<sup>1</sup>. Ей восемьдесят лет. Она водит машину, сочиняет стихи на испанском и делает «ласточку».

Девушка мгновение глядела на него, приоткрыв губы, вдруг звонко расхохоталась и смеялась долго, залиvisto, взхлеб повторяя: «Ой, не *могу*... *Ихо*<sup>2</sup>, какой же вы шутник!», так, что на них оборачивались продавцы остальных отделов, а одна даже перегнулась через прилавок, чтобы не прозевать подробностей флирта.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Между тем все это было сущей правдой.

В свои восемьдесят лет Фанни Захаровна, или, как с детства называли ее в семье — Жука, была инфантильна, жизнелюбива и бесподобно эгоистична.

Ее отец, видный большевик Литвак-Кордовин, член партии с семнадцатого года, старший майор НКВД и, как повторяла в этом месте Жука: *и так далее*, — в тридцать девятом застрелился в своем служебном кабинете Большого дома на Литейном.

В *и так далее* входило следующее.

Балагур и живчик, черноволосый крепыш с глубоко посаженными беспощадными серыми глазами, Литвак-

---

<sup>1</sup> С и е л о — букв. «небо»; здесь «солнышко» (*исп.*).

<sup>2</sup> И х о (*исп.*) — «сынок», используется часто как свойское обращение, даже к старшему.

Кордовин умудрился утрамбовать многочисленные события начала века в свою недолгую жизнь так плотно, как впоследствии его внук утрамбовывал вещи в свой оливковый чемодан: *по самое не могу... а глядь, второй туфель все же влез.*

В его бурную жизнь *влезли*: пребывание в Бунде, полтора года ожесточенных стычек с басмачами в розово-голубой Ферганской долине, три несерьезных пулевых и два серьезных сабельных ранения, целый год учебы во ВХУТЕМАСе с многотрудным рисованием обнаженной модели, клацающей зубами от холода близ немощной буржуйки.

(К этому периоду относится общая фотография первого курса: больше половины учащихся — в шинелях. Зима, промозглый холод, дует изо всех щелей, и профессор живописи Константин Николаевич Истомина, с клетчатым пледом на плечах, сутуло бродит меж мольбертов: «Выражайте массу и вес! Лепите, стройте конструкцию! Форму, форму выражайте!»)

От того времени остались знакомства с молодыми художниками, бесконечные споры о высоком предназначении пролетарского искусства... и куча готовых к работе, уже натянутых на подрамники чистых холстов разных размеров, которые ему так и не довелось записать красками...

Тайной для всех осталась причина столь внезапной перемены маршрута: стремительный взлет в НКВД — сначала назначение замначальником экономического отдела, затем переезд в Ленинград и служба в ИНО — иностранном отделе НКВД, с частыми выездами то во Францию, то в Испанию.

Особенно плотно — под завязку — были утрамбованы его *испанские* годы: операция в Толедо, с осадой Алька-

сара в сентябре 36-го, оборона Мадрида в ноябре того же года, победа над итальянским корпусом под Гвадалахарой и кровавая бойня в Брунете в июле 37-го. (Впоследствии Жука утверждала — хотя доказать это уже невозможно, — что отец имел непосредственное отношение к тайной операции по вывозу «испанского золота» на советском грузовом судне из Картахены в Одессу, умудрившись при этом *тогда* остаться в живых, хотя всех остальных участников операции, включая посла СССР в Испании Марселя Розенберга, ликвидировали. Ну, ничего, его бы очередь пришла обязательно, уверяла Жука, если б он не оказался умнее всех. Обязательно пришла бы, ведь он не умел молчать и писал, что отправлено было не все золото и драгоценности, что часть его разбазарили испанцы и резидентура НКВД — якобы для «оперативных нужд».

*«Что ты бровь свою поднимаешь, эступидо?!»* — кричала она своему недоверчивому племяннику. — *Говорю тебе, я сама случайно видела на его столе письмо, которое он собирался отослать!»*

Она была уверена, что отец писал именно частное письмо, а не докладную:

*«Там были такие слова, которые в докладных не пишут».*

*«Какие же это слова, Жука?»*

*«Отстань!»*

*«Нет, ну правда!»*

*«Там было написано: «рас-низ-ди-ли».)*

В семейном альбоме сохранилась фотография, невесть кем снятая, возможно и самим Литваком-Кордовиным: полуголые солдаты в лодках форсируют реку Эбро, кто-то в потрепанной форменной куртке, кто-то по пояс раз-

---

<sup>1</sup> Эступидо (исп.) — болван.

дет. А в ближайшей к объективу лодке на веслах вообще сидит странная в боевой обстановке фигура: парень в черной рубаше, но без штанов. Полы рубахи прикрывают срам, но отчетливо видно скульптурно-белое бедро.

«Папа, почему этот испанец сидит с голой задницей?»

«Не помню, может, штаны сушил, может просто берёг новые».

«Папа, а испанцы в бой идут с голой задницей?»

«Ты что — дурка?»

К тридцати семи годам он имел звание старшего майора НКВД, что соответствовало общевойсковому генеральскому званию, и сразу по возвращении из Испании — орден Красного Знамени.

Маленькую Жуку в школу возил шофер, а когда она изъявила желание учить испанский — *быть как папа* и дружить с недавно привезенными в Советский Союз испанскими детьми на их родном языке, — в доме немедленно появился шкаф красного дерева вместе с книгами, да все на испанском, и много старинных, растрепанных, с гравюрами и даже рукописными рисунками: узоры-листья-птички, оскаленные львы на задних лапах.

Жука помнила из этого шкафа — «Diccionario de Lengua Castellana», «Словарь кастильского языка», изданный в 1783-м в Мадриде, и «Ordenanzas Reales de Castilla», «Королевские указы Кастилии», 1518-й, Burgos.

Литвак-Кордовин листал их и только насвистывал. Надо сказать, был он непрост, и когда возжелал получить *настоящее образование*, к нему на дом приезжали профессора университета. (Вернувшись из эвакуации, семнадцатилетняя Жука обнаружила в дальнем углу буфетного шкафа на кухне, в то время уже коммунальной, скольз-

нувшую под старую клеенку трепаную зачетку отца — всю в тараканьих точках на бесчисленных «отлично», тонко выведенных фиолетовыми чернилами.)

Происхождение шкафа красного дерева, набитого букинистическим испанским добром, сгоревшим, само собой, в блокадной буржуйке, Жука впоследствии объяснить не могла, зато ее веселый племянник, *до ужаса* похожий на деда, объяснял просто: конфискованное добро, Жука, легко говорил он, что ж тут не понять, — со складов *той его* организации.

Жука отца боготворила. Ей казалось, что она помнит его кабинет, два стола буквой «Т» — неохватные для взгляда ребенка, китель на спинке стула, распахнутое в майскую листву огромное окно и приоткрытую дверь сейфа, где темно мерцал его именной хромированный «ТТ». Еще она помнила, как перед стрельбами отец дома, на кухне, страдальчески морщась, коптил над свечой область мушки.

— Папа... — затаив дыхание, спрашивала она шепотом. — А меня ты не убьешь?

Он поднимал голову, комично вытаращивал серые глаза и говорил ей:

— Ты что, дурка?

*Много лет спустя, получив письмо от Сёмы, дотошно-го дальнего родственника из Винницы, то слезливое письмо о некоем, вдруг возникшем племяннике, что нагуляла ее так называемая сестрица, — она малодушно согласилась поучаствовать в судьбе «чудного мальчика»... И когда в одно прекрасное утро раздался звонок в квартире на Моховой и она отворила дверь и на пороге увидела черноволосого крепыша с*

обаятельной улыбкой и беспощадными серыми глазами, она помертвела и пролепетала:

— Папа...?!

— Ты что, дурка? — весело осведомился тот.

После расстрела Меира Трилиссера, одного из основателей и начальников ИНО, Литвак-Кордовин подобрался. Взяв отпуск на пять дней и прихватив дочку и еще какую-то дерматиновую, твердую, проклеенную холстом папку (такую огромную, что впору было для нее заказывать отдельную полку в купе), поехал в Винницу, к родственникам — Литвакам.

Маленькая Жука была озадачена таким количеством суматошной родни, вспыхивающей по любому поводу — что дети, что взрослые — даже не ссорами, а иступленным выяснением отношений. Все говорили на неправильном русском языке, с мягким «т» и певучим выдохом-хэканьем. А то и вовсе переходили на какой-то иностранный, но не испанский язык: на самой высокой ноте разговора вдруг словно переключался рубильник, и все принимались щурить глаза и кричать друг другу: «Вус?! Вус ост ди ге-зухт?!»<sup>1</sup>

И самое странное, что папа, как тот оборотень из сказки, мгновенно превращался в одного из них: тоже весело кричал, «хэкал» и переходил на этот гортанный, гирляндами вьющийся язык, под названием — пояснил он дочери — «идиш».

Еще Жука запомнила посещение парикмахерской в гостинице «Савой». Они с отцом вошли в парадные двери бело-голубого здания на углу Козицкого и Ленина, с башенкой-ротондой на крыше, повернули направо, в высо-

---

<sup>1</sup> «Вус?! Вус ост ди гезухт?!» (идиш) — Что?! Что ты сказал?!

кие распахнутые двери, и разом отразились целой толпой пап-и-дочек в высоких зеркалах шикарного зала.

Отец снял кожаную куртку и уселся в кресло. Парикмахер встряхнул простыню движением тореадора и, оборачивая отцу шею, склонился к его уху и что-то прошептал. Тот отрицательно помотал головой... Жука сидела в кресле под тонкоперой веерной пальмой и листала сатирический журнал «Крокодил». Страницы липли к пальцам. Номер был еще апрельский, с карикатурами на Гитлера и каких-то поляков...

Позже, на остановке трамвая, Жука спросила отца — что ему сказал на ухо парикмахер. Отец долго молчал.

«Он спрашивал, будут ли погромы», — наконец проговорил отец.

«Что такое погромы, папа?»

«Я расскажу тебе потом».

И вдруг оживился и стал, склоняясь к ней и благоухая одеколоном, рассказывать про какие-то странные и страшные «мене, мене, текел у парсин»...

Вернулись они в Питер без серой папки, но втроем: отец привез из Винницы дальнюю родственницу по линии Литваков: черноглазую деваху с крепкими ягодицами и литыми икрами, так что все время хотелось смотреть ей вслед, так все переливалось, волновалось, натягивалось и не отпускало взгляд.

— Это Нюся, — сказал он жене. — Она смышленная, ну и... вообще. По хозяйству поможет.

И подмигнул обеим.

Привез он Нюсю вовремя — чуял, что супруге, Елене Арнольдовне, вскоре понадобится поддержка, ну и... вообще. Дочь известного петербургского адвоката, балерина бывшего Мариинского, ныне Кировского театра, Еле-

на Арнольдовна, «Ленуся», была совсем непригодна для житейских потрясений.

Невысокая, она казалась выше своих ста пятидесяти шести сантиметров благодаря той классической осанке, великолепной постановке корпуса, которой славились балерины петербургской школы. Ученица знаменитой Елены Люком, она не достигла особых вершин только из-за травмы спины (в юности на прогоне «Жизели» ее уронил партнер), но с успехом танцевала в корифейных номерах — в тройке, четверке или шестерке танцовщиц; имела и сольные балетные номера — в операх «Кармен» и «Травиата»; выходила в «Пахите», в «Эсмеральде» и в «Корсаре».

Говорить и думать Елена Арнольдовна могла только о балете, так что даже девятилетняя Жука с горячностью принималась объяснять подружкам разницу между «пластическим рисунком в хореографическом тексте», которого добивался Федор Васильевич Лопухов в своих «хореодрамах», и «методикой Вагановой». Демонстрировала «активную подачу рук в танце»: встанет прямо, голова ровно поднята на шейке, и пошли перетекать волнами руки одна в другую, одна в другую — от кончиков пальцев правой до кончиков пальцев левой... «Руки-крылья! — объявляла она очарованным подружкам, довольная произведенным эффектом. — Из «Лебединого озера». Гениальная находка Агриппины Яковлевны».

Сама-то она, к великому огорчению матери, особых надежд не подавала, несмотря на то, что первым подарком в ее жизни стала пара миниатюрных балетных туфелек, принесенных ей на рождение доброй феей, Агриппиной Яковлевной Вагановой, которая «Ленусю» сердечно любила и жалела из-за той трагической случайности на репетиции.



Жука, разумеется, посещала занятия балетной студии, но всем своим физическим существом — костяком, посадкой — настолько была иной, «крепенькой», что мать только вздыхала и отводила глаза, когда дочь отработывала за станком какие-нибудь простейшие *batemant tenay* *Пли rondde jamb partem*<sup>1</sup>.

*Впрочем, польза для здоровья от этих детских занятий была, по уверению Жуки, неоценимая. Она и в старости проверяла свое самочувствие ежеутренним «арабеском», тем, что в народе называют «ласточкой».*

*Впервые племянник обнаружил это на другой день после своего водворения в дедовском кабинете, который Жука занимала в коммуналке на Моховой. Вернувшись утром из ванной с тюбиком пасты и зубной щеткой в руке, с полотенцем, перекинутым через плечо, он чуть не выронил все это на пороге: его тетка — в бигудях и полурасстегнутом халате — стояла на одной ноге у окна, высоко подняв голову и балансируя обеими руками, наклонив горизонтально корпус и бледную голую ногу.*

*— Что ты... делаешь? — спросил обалдевший племянник, еще незнакомый с утренними экзерсисами новой тети.*

*— «Ласточку», болван! — ответила она, не поворачивая головы и вибрируя вытянутой ногой.*

В конце тридцать девятого свои ребята предупредили Литвака-Кордовина, что он «на выходе», — дабы успел организовать.

Будучи решительным человеком, он *организовался* — пустил себе пулю в лоб прямо в кабинете, оставив хладнокровное письмо о вечной преданности партии.

---

<sup>1</sup> Балетные па.

Семью не тронули, квартиру на Моховой оставили за вдовой, и ни один волос не упал со смоляной головенки Жуки. Разве что в школу и на балет она теперь ездила на трамвае с домработницей Нюсей.

Кстати, после похорон выяснилось, что Нюся беременна. Подробностей — от кого, когда и где умудрилась — Елена Арнольдовна допытываться не стала, отсылать Нюсю назад в Винницу тоже не решилась: все же та, при изрядной — как говорил покойный муж — «балдастости», была расторопна в хозяйстве, вкусно стряпала и обладала житейской хваткой, какой недоставало рассеянной и ошеломленной своим внезапным вдовством Ленусе.

Настоящий скандал разразился месяцев через шесть, когда Нюся родила девочку. Вот уж та оказалась типично кордовинским отродьем: черноволоса и кудрява, как Жука, и столь же резва и *жизненна*. Так что кое-кто из знакомых высказывал негромкое предположение, что, покинув с такой внезапной решимостью *сцену*, старший майор ИНО НКВД, со свойственной ему смекалкой, умудрился *убить двух зайцев*.

Нюся с воем повинилась: чего уж там, одну плоть и кровь носили, будем сестрами... Толстая, грудастая, с распухшим носом и коровьими доверчивыми глазами — полная противоположность Елене Арнольдовне, — она возвращаться в Винницу боялась. «Боялась стыдобы»: откуда девчонка и с кого портрет, стало бы ясно не только родне, но и каждому встречному, кто когда-либо сталкивался со смуглым черноволосым крепышом. Она порывалась назвать дочь Риоритой — неизвестно, что уж там между ней и Литваком-Кордовиным под этот фокстрот происходи-

ло, — но Елена Арнольдовна, хвала небесам, не допустила. Остановились на просто *Pute*. Изящно, непритязательно *и международно*... Во всяком случае, так записали, а как называла ее мать, это уж ее личное дело.

Так и жили вчетвером до самой до войны: женская семья.

И вот что интересно: дура Нюся, побоявшись ехать в Винницу в мирное время, подхватила и поперлась туда с девочкой в начале войны. Вернее, за три дня до начала. Видимо, были у нее виды на троюродного братца Сёму Литвака, парня толкового и надежного, и — верила она — человеческого. Года три назад были у нее с Сёмой гулянки-переглядки, да вот явился Захар, оглушил, окатил кипятком своих ласк... и ухнуло все к чертям под взглядом его серых глаз.

Так ведь нет больше Захара, думала Нюся, а Сёма — вон он. И с профессией какой: парикмахер, мастер дамский и мужской, не руки, а «полет шмеля». Все поймет, надо только поплакать, повиниться от всей души, вывалить на руки ему дитё — такую сочную, упитанную и мягкую Риоритку — к сожалению, повторяющую Захара всем, разве что не *струментом*...

Но Сёма, во-первых, никогда Захара не жаловал, называл его *гонником* и уверял, что застрелился тот, чтоб надо всеми посмеяться.

«Ках-до-вин! — восклицал он. — Хусским, хусским стать хотел! (Хотя ни сам Сёма, ни Захар — не картавили оба.) Как он красиво свою фамилию-то повернул, а?! Какой он Кордовин?! Был Кордовер и есть Кордовер, как его дед-прохвост, «Испанец» этот».

«Почему — испанец?» — огорчалась Нюся, ей эта кличка казалась обидной. И Сёма отвечал в сердцах: «Да черт его знает!»

(Дед Кордовина, это правда, был в Виннице пришлым, лихим и скрытным человеком с действительно скользкой фамилией — назывался так, как ему было удобно. Говорили, что приехал он из Одессы, а туда попал уж совсем из диковинных краев; ну, да это давняя история...)

«Нет, — говорил Сёма с подавленной обидой, — то, что за-ради семьи пустил себе пулю в лоб, это — молодец, это — уважаю. Но *уверю* вас... он при том хохотал!»

Во-вторых, Сёма добровольно явился в военкомат в первый же день войны. Был он, между прочим, футболистом и с парашютом прыгал целых восемь раз, так что, само собой, сразу попал на фронт, да еще в десантные части.

А Нюся застряла в Виннице, в беспомощности и ужасе. И когда 19 июля пришли немцы и начались облавы, она с большой семьей деда Рувима пряталась в подвале его дома, того, что дед Рувим построил в цветущие годы своей жизни, когда еще был известным сапожником-модельером, имел в подчинении трех мастеров и сам изготавливал индивидуальные колодки. (К нему приезжали строить обувь даже из Киева.) Дом был капитальный, фундамент из гранитных камней, добротная кирпичная кладка. И ледник был: зимами с Буга привозили на подводах лед.

Вот в этом подвале и прятались. Спали в нишах, где раньше хранили картошку и морковь. Ужасно Нюся боялась за девочку, *Риориту*, — двоюродная сестра Соня все твердила, что дитё выдаст всех криком и что надо *обезопаситься*. Так что Нюся не спала совсем: боялась, что, пока

она задремлет, Соня задушит девочку своими сильными руками прирожденной прачки. Однажды привиделось в дремоте, как та выкручивает малышке шейку — тем же движением, каким выкручивают воду из пододеяльника, и Нюся заверещала во сне почище младенца. Но девочка оказалась чрезвычайно, пугающе умной — за все дни подвальной отсидки не издала ни звука, и хотя к тому времени уже начала говорить, умолкла совсем, надолго. Чуть ли не до конца войны.

Так что, когда возникла Клава — а та кормилась тем, что ночью переправляла евреев на румынскую территорию: доводила до моста и там передавала священнику, который дальше вел, и брала по-божески, не наглела, — Нюся бодро уложила манатки.

В путь собралась вся семья, небольшая толпа голодранцев, — *вот, опять ночной исход из Мицра́им<sup>1</sup>, опять бегство от нового фараона...* Однако на середине пути, почти у самого моста, деда Рувима прихватила астма, которую он нажил, всю жизнь терзая легкие смрадом вонючих кож. Задыхаясь, он выкашлял:

— Все, не могу больше, вернусь... Идите без меня.

Соня ответила:

— Ты что, папа, рехнулся? Никто уже никуда не идет, ша, мы вернемся *все*, не бросим же тебя.

*Все*, сказала ей Нюся, но без меня. Перевязала покрепче на своем толстом животе шерстяным платком *Риориту* и зашагала в направлении моста.

А те вернулись *все*, большая семья: Соня с мальчиками десяти и шести лет, бабушка Рахиль, инвалид детства дядя Петя, его жена Рива... Ну и дед Рувим, само собой.

---

<sup>1</sup> Мицраим (*иврит*) — Египет.

Вернулись все в подвал, в крошечную тьму, слабо колеблющуюся огнем свечи, к бочке с квашеной капустой, накрытой каким-то большим и твердым, но холстяным на ощупь щитом, оставленным здесь зачем-то этим *гонником* — комиссаром *Захаркой*...

Поначалу они продавали соседям оставшееся серебро; когда серебро кончилось, соседи выдали их полицаям.

Это — всё. В смысле — и так далее.

Но здесь необходимо отступление о геройской гибели деда Рувима. В одну из немногих оставшихся им ночей тот вылез из подвала — покурить. И услышал женские крики о помощи. Немцы куда-то, впрочем, известно куда, волокли пойманную ими бабу. И дед Рувим, бесстрашный сапожник-модельер, бросился на крики. Ведь если женщина молит о помощи, мужчина не может покуривать в сторонке.

Его пристрелили мгновенно, с первой пули, и тридцать лет спустя старый Глейзер показывал очередному маленькому *гоннику Захарке* канализационный люк, на котором дед Рува лежал целые сутки...

А Нюся с малышкой *Риоритой* уцелели в гетто Транснистрии. Там выживали, не в пример другим подобным *курортам*: с начала 42-го узники стали получать продовольственную помощь международных еврейских организаций, да и кустарные промыслы в гетто были налажены. А Нюся рукастая была — и вязала, и корзины плела, и не уклонялась от тарзаньих ласк охранника *Алексяну* — просто надо было выжить и спасти дочь, и Нюся твердо решила выжить...

...в отличие от Елены Арнольдовны, которая опустила руки и сдалась на милость судьбы сразу: например, на нервной почве обездвижела в первые же дни войны — сказала старая травма позвоночника, — да настолько, что не смогла эвакуироваться с Кировским театром. Театр уехал в Молотов, где трудно, но благополучно пережил тяготы эвакуации, а Елена Арнольдовна бессмысленно ждала Нюсю, надеясь, что та скоро вернется, и при своей *безусловной балдастости* все же как-то устроит и организует нормальное существование.

Первое время, пока не сгорели Бадаевские склады, они с дочерью держались, хотя сразу выяснилось, что балетная диета и голод — это разные вещи. Ленуся совсем не умела голодать, как это ни странно.

Поначалу они с Жукой растягивали, сколько могли, обнаруженные в нижнем ящике кухонного шкафа две пачки червивого риса, который по рассеянности Елена Арнольдовна забыла вовремя выкинуть. Жука сама научилась перебирать его и варить без соли (соль кончилась), но с перцем, зирой и барбарисом, запасы которых были неисчерпаемы: Литвак-Кордовин еще с ферганских времен умел готовить плов и, случалось, баловал семью и гостей настоящим узбекским, с бараниной.

В эти первые недели Жука вдруг вытянулась, повзрослела и вела себя гораздо толковее матери. Она учила мать, по какой стороне улицы безопаснее идти и как вжаться в стену дома, когда воеет сигнал воздушной тревоги; умела выменять на толкучке что-то съестное, неплохо училась, и вообще — все время была чем-то занята. Вошла в какую-то «ячейку»: человек пять одноклассников об-

ходили квартиры, собирая теплые вещи для бойцов, или искали по округе цветной металлолом для снарядов, или вот бутылки собирали.

— Жука, а бутылки... — робко спрашивала Елена Арнольдовна, которая хоть и поднималась уже, но при любой возможности норвила присесть или прилечь. — Бутылки для чего?

— Ну, мама, — втолковывала та, — как ты не понимаешь: это для поджога танков! Враг на пороге!

Она даже дежурила со старшеклассниками на чердаке — оттуда было видно, как огненными кольцами горели окрестные деревни, — и дважды гасила зажигательные бомбы. «Мы — часовые ленинградских крыш!» — повторяла чью-то недавнюю крылатую фразу, и мать с робким и покорным изумлением обнаруживала в своей забалованной дочери отцово упрямство, *жизненность* и последовательность действий.

Потом стало полегче, потому что к ним перебрались жить мамина подруга тетя Ксана с сыном Володей, на три года старше Жуки, и с бабушкой Александрой Гавриловной. Тетя Ксана тоже танцевала в Кировском, но в глухом кордебалете, без особых претензий, поэтому до войны еще закончила курсы экскурсоводов. Была она энергичной и *подхватливой*: всюду подмечая смешное, потешно изображала экскурсантов:

«А не сводите ли на такую вулицю: Заячья Роцца?» — «Боже, — думаю, — скандал: всю жизнь в Ленинграде живу, такой улицы — Заячья Роцца — не знаю». Оказывается, улица-то нужна Зодчего Росси! И хохотала, и вновь повторяла: Заячья Роцца, а?! Зодчего Росси!»

В эвакуацию они не уехали из-за Александры Гавриловны — стариков почему-то не брали. И вот в их квартире на последнем этаже угодил снаряд. Потолок, как в



изумлении повторяла Александра Гавриловна, «сшибло начисто», — повезло, что сами отсидели налет в бомбоубежище — в домовой конторе.

Жить вместе оказалось куда сподручней, тем более, что, вселяясь, квартиранты притащили — как говорила тетя Ксана — «калым»: Володя возник в дверях, груженный мешком еще дачной их, райской картошки, обнаруженной в подвале. Немного подмороженной — ну так что? — это было огромной удачей. Привезли и буржуйку на санках, тоже дачную. Тетя Ксана умела ее топить и Жуку научила: сначала растопить газетой, потом подкладывать что-то более существенное, более длительное горючее. По округе во дворах уже ломали и разбирали сараи на дрова, и Володя с Жукой ходили подбирать щепки и чурочки. Поселились все вместе в гостиной — одной буржуйкой всю квартиру не обогреешь, а так вполне, хотя парок изо рта вырывается.

А мороженую картошку использовали «на все сто»: жарили, варили, очистки сушили в гостиной на кабинетном рояле, под которым Володя спал. Сухие очистки мололи и опять жарили оладьи на электроплитке, на американском жиру под названием «лярд». Часто электричество отключали, и тогда в темноте Жука и Володя ели прямо с остывающей сковороды недопеченные оладьи.

Тетя Ксана работала — те, кто остался, продолжали танцевать, несмотря на то что в Кировский попала бомба. В зал войти было страшно: по стенам свисали обломки ярусов: арматура с кусками золоченой лепнины... Артисты переодевались и гримировались в царской ложе, потом выходили на публику в фойе и там давали концерт.

Вообще тетя Ксана не унывала никогда. Миниатюрная и жилистая, как Ленуся, с шелковистым пробором в

черных волосах, завязанных сзади узлом, она с утра командовала всей семьей — распределяя обязанности, требуя от Ленуси, чтобы та поднялась, причесалась, немного прибрала: «Двигайся! Главное — двигайся!» А во второй половине дня тетя Ксана работала на выставке трофейного оружия — в Соляном переулке. Выучила назубок все экспонаты — что и как называется, как разбирается, из чего состоит. Водила экскурсии для тех, кого отправляли на фронт, и уверяла, что в каждой группе есть «человек в штатском», который внимательно слушал и вопросы экскурсантов, и объяснения экскурсовода.

По воскресеньям она выходила на толкучку менять вещи на что-нибудь съестное, и очень ловко это проворачивала. За адвокатские золотые дедушкины часы, бриллиантовое Ленусино кольцо и запонки в виде скрипичного ключа с рубинами тетя Ксана, как говорила она, «выиграла» полкило пшена, полкило сахара и грамм двести масла. Чуть-чуть столовка поддерживала — та, что открыли в БДТ, — там по талонам давали обед — затируху, котлеты из пшена... Ну и, конечно, хлеб по карточкам. Очереди длиннющие в утренней тьме; Жука с Володей менялись, чтобы не сдохнуть на холоде. Странно было только, что Ленуся, несмотря на героические усилия всех вокруг *держат ее и тащить*, с каждым днем все больше слабела и впадала в апатию. Как будто лишь сейчас поняла, что Захар не вернется никогда.

Потом немцы взяли Тихвин...

А холода навалились такие страшные, будто природу и саму землю обуяла особая ярость — за все, что с ней делали люди, прорывая в ее теле глубокие рвы, взрывая ее покровы, сбрасывая в ямы тысячи трупов, пожирая все живое — от кошек до крыс.

С этого момента начиналось и завершалось то главное «и так далее», которое впоследствии всегда замирало у Жуки на сжатых губах. И всю дальнейшую жизнь ее племянник не мог добиться от нее главного: деталей. Того, что он более всего ценил в жизни: в людях, в искусстве.

— Жука, слушай, — приступал он терпеливо, — это ж сто лет назад было, пора и привыкнуть. Ну, расскажи по-человечески, как умерла Ленуся.

И не понимал — отчего та замыкалась.

— Умерла, и все, — отвечала тетка. — От голода угасла. И так далее...

Самое страшное в жизни, считала она, именно детали. Вот что с удовольствием она выкинула бы из своей детской памяти — тот день, когда впервые Ленуся поплелась одна на толкучку: тетя Ксана была занята на «утреннике», а Жука болела ангиной. И с той минуты, когда за матерью захлопнулась входная дверь, Жука встала у заклеенного крест-накрест окна кухни, глядящего на Моховую, и стала ждать. Ей казалось, что, пока она стоит и ждет, с Ленусей ничего дурного не случится и та удачно выменяет *на еду* яйцо, которое в семье называли человеческой фамилией Фаберже. Яйцо из Ленусиною приданого было, конечно, копией, но отменной: красно-эмалевое, увенчанное луковкой золотой короны с крестом, все перевитое какими-то золотыми кручеными веревками, оно стояло — пузач на трех львиных лапах — на ониксовой подставке в стеклянном шкафу, который отец называл почему-то адвокатской горкой. Там, в этой горке — тоже наследной, — до войны еще много чего стояло. Больше всего Жуке нравились синие, с золотой чешуей, чашки с блюдами (выменяно в сентябре на гречневую крупу), шкатулка, хрустально перебирающая песенку «Ах, мой

милой Августин» (сосед-коллекционер за нее тулуп отдал и брус маргарина), и забавные серебряные, позолоченные ложечки — каждая с попугаем иной породы и раскраски.

Папа называл все это побрякушками.

— Запомни, — сказал он однажды Жуке, которая тогда ничего такого запоминать не собиралась, но как-то все равно запомнилось, впечаталось, как многие отцовские слова и замечания. — Запомни, самая ценная и старинная здесь вещь, это... — и постучал ногтем среднего пальца по стеклу, за которым, почти сливаясь с серым бархатом задней стенки горки, стоял тяжелый кубок на витой ноге, расходящейся книзу круглой устойчивой юбочкой. На боку самого кубка по трем волнам плыл гравированный трехмачтовик с поднятыми парусами, а по низу серебряной юбочки впересыпку с листочками вились буквы неизвестного языка, так что отличить буквы от листочков было не так уж и легко.

— Самая дорогая? — уточнила Жука, удивляясь про себя неказистости вещи.

— Самая ценная для тебя, — поправил отец и, понизив голос, пояснил: — Ленуся тут ни при чем, это наш с тобой удел.

Литое тяжелое слово *удел* так поразило девочку, что она спросила:

— Почему?

— По кочану. Вырастешь, внука мне родишь, тогда скажу.

— А что здесь написано? — заинтригованно спросила Жука. Она только что прочитала «Графские развалины» Гайдара и бредила приключениями, тайнами и шпионами.

— Если б я знал, — вздохнул отец. — Это не идишь, совсем другой язык...

Она стояла у кухонного окна, выходящего на Моховую, и высматривала легкую фигурку матери, которая, даже истощенная, даже закутанная в тряпье, все же не теряла балетных очертаний, хотя уже давно двигалась замедленно, как во сне, и не верилось, что это Ленуся, с ее сильными ногами и стремительным жилистым телом, тащится десять минут из столовой в кухню. Жука переживала, что отправила мать по такому сложному делу. Правда, она дала Ленусе четкие инструкции: на мясное не выменивать, ни студня, ни пирожков не брать, а то еще подсунут человечину — такое бывало. На толкучке всякое случалось. Вот тетя Ксана однажды попала в облаву. И всех, кого загребла милиция, отправили на Пискаревку — бросать в траншеи мешки с трупами. Но тете Ксане, она рассказывала, *повезло*: в *ее мешке* оказалось двое детей, не так тяжело было тащить и бросать...

Когда Жука стала всерьез волноваться за мать, та наконец возникла на углу улицы Пестеля с полулитровой банкой, почти до половины заполненной... и Жука чуть не задохнулась от счастья: наверное, это постное масло! богатство! бесценное достояние! Что может быть вкуснее: слегка наклонив банку, вылить на блюдце лужицу золотой вязкой жидкости и макать в нее хлеб! Макать, но не вымачивать полностью, еще чего! По чуть-чуть, отправляя в рот по кусочку, и не сразу глотать, а чтобы весь рот пропитался ощущением, узнаванием, *пониманием еды*... Макать, макать — всю дневную норму хлеба. Нет! У Жуки выделялись голодные слюни, она сглатывала их, и ей казалось, что во рту уже пахнет дивным подсолнечным *солнечным* вкусом. Нет, не всю норму, нет! Разделить на три части: завтрак — обед — ужин... и праздновать так несколько долгих дней.

И тут на Ленусю наткнулся мальчик с санками.

Он просто медленно шел навстречу, шел-шел... и вдруг упал и остался лежать, а санки покатались дальше, под ноги оцепеневшей Ленусе, и она качнулась, переступила ногами и...

Полет банки к земле и фонтан маслянистых брызг — ярче и мучительней взрыва фугасного снаряда — с тех пор всегда возникали в памяти Жуки в моменты невыносимого напряжения. Снег под ногами Ленуси вспыхнул янтарным горячим светом, а в ледяном углублении от полозьев скопилась лужица. Она, как подрубленная, рухнула на колени и принялась лакать из этой лужицы масло — жадно и быстро, как собака Полкан на их доверенной даче.

И впоследствии ничего не перешибло в Жуке эту ужасную сцену: ни смерть Володи — от снаряда, упавшего прямо во двор, ни заиндевевшие, засыпанные снегом трупы на улицах, ни даже застылое и обернутое простыней балетное тело самой Ленуси, так ладно и твердо, как египетская мумия, уплывшее на санках в царство мертвых.

В январе от взрыва поблизости вышибло окна в кабинете отца, и на кухне случился небольшой пожар, который они с тетей Ксаной заливали из ведер, так что потом повсюду на полу образовались глыбы льда. В январе же от истощения и холода угасла бабушка, Александра Гавриловна, и просидела в кресле-качалке в детской, куда они отволокли ее вместе с креслом, целую неделю — окоченевшая и холодная: ни у Жуки, ни у тети Ксаны, к тому времени изрядно истощенных, не было сил тащить на Пискаревку тяжелое костлявое тело. Наконец дворни-

чиха Тая за 200 грамм хлеба согласилась увезти труп. Да только довезла ли? Может, бросила где по дороге, бесслезно сокрушалась тетя Ксана, кто ее знает...

\* \* \*

В одну из февральских ночей Жуку с тетей Ксаной вывезли наконец из Ленинграда на грузовике по льду Ладожского озера. Жуке велено было собрать небольшую котомку: немного теплых вещей. Она собрала узелок с бельем, кофтой и шерстяной юбкой. Подумала, отобрала из семейного альбома две фотографии — свадебную отца и Ленуси, и еще одну, испанскую, где отец стоит с винтовкой на фоне стены толедского Алькасара, торчащей гигантским зубом.

Когда тетя Ксана уже запирала парадную дверь, Жука вдруг ахнула, отстранила ее и устремила обратно в квартиру.

— Ты что! — слабо окликнула тетя Ксана. — Опоздаем, уедут.

Через минуту девочка вернулась с какой-то металлической рюмкой в руках.

— Ты с ума сошла? — в сердцах спросила тетя Ксана.

— Это... ценная вещь, — замерзшими губами пробормотала Жука. — Папа сказал — наш с ним *удел*.

Она помнила всю жизнь острый морозный воздух, красные флажки на снегу, отмечавшие дорогу, дальний утробный вой сирен, кипящие в свете прожекторного луча снежинки, группу закутанных во что попало женщин и детей, что молча толпились возле грузовика с брезентовым кузовом.

И когда, опустив деревянный борт, дали приказ подниматься в грузовик по одному, Жука ухватилась за руку мужчины, что стоял на платформе, и тот легко вздернул

ее наверх. Тут она почувствовала, как из узелка на лед что-то вывалилось, глухо стукнув. Мгновенно девочка скользнула обратно, рухнула на снег, больно ударив колени, и так, на четвереньках, принялась шарить в темноте под огромным колесом, судорожно подвывая. Сверху, с платформы грузовика, безуспешно взывала к ней тетя Ксана.

— Ты чего? — спросила, наклоняясь над ней, тетенька с фонарем. — Потеряла чего, дочка? На вот, гляди...

И посветила вниз. В свете фонаря темный кубок на снегу казался сверкающим новогодним подарком. Лежал, притулившись к пупырчатому боку огромного колеса: странный, непонятный *удел*, бросить который почему-то невозможно.

Ехали медленно, под непрерывный вой сирен и разрывы снарядов...

А та добрая тетенька всю дорогу стояла на подножке у открытой двери в кабину водителя, светила фонарем дорогу.

\* \* \*

Город Пермь, вытянувшийся вдоль Камы, девочка помнила в клочковатом тумане, из которого выбегала крыса и шныряла по полу подвала, куда поселили их с тетей Ксаной, подвала столь глубокого, что ноги прохожих видны были в окошке лишь по щиколотку. Тетя Ксана, которая боялась крыс больше, чем немцев, жарила на керогазе рыбу, стоя на низкой табуретке.

И еще одно «пермское» воспоминание навсегда застряло в подростковой памяти. Распаренные розово-жемчужные тела в душном банном пару. Стук алюминиевых



тазов, шипение кипятка из крана... *Папа, а почему Дон Кихот на голову надел тазик? Он был дурка?* Четырнадцатилетняя Жука мылит скользким обмылком узкую худую спину тети Ксаны. Если не видеть ее черные, ни капли не седые волосы (а они все равно обернуты чалмой из полотенца) — то можно представлять, что это Ленуся, так похожи их одинаково балетно вылепленные торсы и выпуклые желваки ягодиц. Она трет мочалкой эту *почти Ленусину* спину, случайно бросает взгляд в окно и вскрикивает: там, сквозь дымно курящийся воздух — напряженное, неподвижное мужское лицо с остекленелыми глазами.

Жука испуганно крикнула — такое это было страшное лицо! Тетя Ксана вначале только отмахнулась: какой там дяденька, это ж второй этаж! Потом вскрикнули рядом, еще... и вспыхнул протяжный бабий визг. Тогда распалась дверь, и в зал влетела банщица: видно, не впервой тут случилось. Она проворно метнулась с ковшом к горячему крану, перебежала к окну и, рванув на себя раму, плеснула в лицо незнакомца кипятком. Там, на морозе, невидимо крикнули, и что-то с глухим стуком свалилось вниз, под общее одобрение женщин. Это долго снилось: кирпичное неподвижное лицо мужчины с играющими желваками, белые глаза, шарящие по распаренным телам в жемчужном аду, словно он мог испить глазами их натуру и насытиться ею...

И абсолютное, всеобщее одобрение голых женщин в ответ на звук страшного мертвого удара о землю.

\* \* \*

Досада Нюсиной судьбы заключалась в том, что Сёма-то с фронта вернулся живой, как с иголки — почти с иголки: то, что ступню покорежило осколком мины,